Владимир ФАЙНБЕРГ

КИФАЧТОИЗ ХКИФАЧТОТОФ В

«В БАНАНОВО — ЛИМОННОМ СИНГАПУРЕ...»







Владимир ФАЙНБЕРГ

КИФАЧТОИЗ ХКИФАЧТОТОФ В

«В БАНАНОВО— ЛИМОННОМ СИНГАПУРЕ...» УДК 821.161.1=94Файнберг ББК 84(2Рос=Рус)6=4 Ф17

Владимир ФАЙНБЕРГ

Ф17 Биография в фотографиях. «В бананово-лимонном Сингапуре...» — М.: Дом надежды, 2008. — 240 с.

ISBN 978-5-902430-15-5

Оба произведения, составившие эту книгу, по-своему необычны.

Очень личные, искренние они, в то же время, говорят о жизненном опыте каждого.

Являясь автором двадцати книг стихов и прозы, Владимир Файнберг делает здесь новый шаг навстречу читателю.

ББК 84(2Рос=Рус)6=4

Заказ 3533. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

© В. Л. Файнберг, 2008

© Дом надежды, 2008

ISBN 978-5-902430-15-5

ВИФАЧТО НА К КРИФАЧТОТОФ В



К ЧИТАТЕЛЮ

Не только о себе я рассказываю в этой книге, но и о нас с тобой, читатель.

— Как же так? — спросите вы. — Здесь полно фотографий, не имеющих ко мне никакого отношения!

Это не совсем так.

С течением лет во мне постепенно возникло понимание неразделимости человеческих судеб, кровного родства всех людей. Недаром индусы вывели глубочайшую формулу: я — ты. Недаром христианство обращается ко всем людям — «Братья и сёстры».

Что происходит со мной, происходит и с вами. И наоборот. Что происходит с вами, происходит и со мной.

Внешние различия при внимательном взгляде лишь подчёркивают то, что называют общей судьбой.

Там пригревает солнце. Южное солнце конца марта. Там морской причал с недостроенной металлической вышкой на самом конце.

Я стою, прислонясь спиной и затылком к чуть нагретому металлу. Мне двадцать с чем-то лет. Солнце и море слепят глаза. Где-то далеко за искрящейся синью Турция.

Чтобы меня сфотографировать, кто-то должен же был стоять впереди. Но там причал обрывался, больше не было места.

...Возникшая загадочным образом любительская фотография, запечатлевшая меня таким, каким я вопреки возрасту чувствую себя до сих пор.



Чем дольше идёт время жизни, тем резче нарастает во мне нелепое, ничем не объяснимое чувство вины. Ведь люди, изображенные на этой выцветшей, дореволюционной фотографии, не смогли бы меня ни в чем упрекнуть. Они не ведали, что я буду обязан им своим существованием.

Ни мой дед со стороны матери, ни его жена, которая барыней стоит у его правого плеча, конечно, помыслить не могли о том, что через столетие кто-то будет поминать их. Да ещё с чувством вины. А быть может, надеялись, что память о них не исчезнет, как исчезают круги на воде...

Деда звали Анатолий. Это легко выясняется по отчеству моей мамы — Беллы Анатольевны. Её на этом снимке нет. Имени моей бабушки я не помню. Хотя четырёхлетним успел увидеть её в Днепропетровске — грузную, испугавшую меня старуху.

...Они стоят на крыльце дачи вместе с какими-то родственниками. Затвор фотоаппарата щёлкает, запечатлевая их в последнее лето XIX века.

Ещё живы Толстой и Чехов. Бедствует, ночуя на полу в чужих подъездах, Пиросмани...

В своей книге «Навстречу Нике» я рассказал то немногое, что успел узнать от мамы о деде, о том, как его



отравили стрихнином в самом начале Первой мировой войны. Больше ничего не удосужился узнать об этих людях. Чья кровь гудит в моих жилах.

3

Вот-вот тронется со двора лошадь, заскрипят по снегу полозья саночек, где сидят гимназистки. Последней — моя будущая мама. Белла.

Судя по надписи на обороте, фотография сделана в декабре 1917 года. Следовательно, маме пятнадцать лет.

…Два месяца назад произошла Октябрьская революция — «главное событие XX века», как объясняла потом советская пропаганда.

Тронутся саночки...

Бедная моя безотцовщина, зябко приткнувшаяся к подружкам, что у тебя впереди?

Я-то знаю, а ты нет.



Как прошла мамина ранняя юность, что происходило за девять лет? Мне не осталось ни её воспоминаний, ни одного снимка за эти долгие годы Гражданской войны, «военного коммунизма».

Знаю только, что какое-то время, чтобы не умереть от голода, работала в мастерской по изготовлению пуговиц.

Видела на улицах больных, умирающих от истощения детей. И решила во что бы то ни стало стать детским врачом.

1926 год. Маме двадцать четыре. Она — студентка Днепропетровского медицинского института.

Стоит первая слева с сокурсницами на групповом снимке. Человек за столиком — профессор Руднев, о котором она будет всю жизнь хранить благодарную память.



Хватило денег впервые зайти к профессиональному фотографу. Снялась с подругой. Доверчиво прильнула к ней. Обе — будущие детские доктора.

...Не видно теперь таких чистых, открытых девичьих лиц.



Тем временем в украинском городе Нежине, в семье уличного сапожника рос мой будущий отец.

Его родители ни разу не были запечатлены фотоаппаратом. Ни одного документа, ни одной вещицы от них не осталось. Бесследно канувшая в вечность жизнь предков меня в своё время странным образом совершенно не интересовала, а отец не любил предаваться воспоминаниям.

Каким папа был мальчиком, юношей представить себе не могу.

Впервые вижу его на этой фотографии 1926 года. Здесь он уже двадцатичетырёхлетний студент Московского текстильного института.

Стоит первым в шеренге сокурсников. Повернув голову в сторону объектива, смотрит в грядущее, где через несколько лет встретит ровесницу — мою будущую маму.



Получив высшее образование, они за несколько лет удивительно изменились, выглядят очень взрослыми.

Вот инженер-текстильщик, направленный работать на подмосковную ткацкую фабрику.

Вот детский врач, получившая распределение в украинское село Селидовку.

И надо же так случиться — о, детектив жизни! — что летом 1929 года каждый из них впервые получает путёвку в Абхазию, в один и тот же дом отдыха!



На этой фотографии они снялись в большой группе отдыхающих, ещё незнакомые друг с другом. Отец высится сзади, почти заслоненный другими людьми. Загорелая мама чуть выдвинута вперёд. На ней замысловатое летнее одеяние с бретельками и бантом.

Их разделяют пять человек. Они ещё не вместе, но уже близко.



В начале мая 1930 года, готовый появиться на свет, я ещё находился в маме. Примерно за две недели до родов они с отцом сфотографировались.

Как поженились, как отцу удалось перевезти маму в Москву, мне потом не рассказывали.

Такое впечатление, что, ожидая ребёнка, они полны надежд.



Родившийся человек сам для себя всё равно что не существует. Его как бы ещё нет. Он — беспамятная кукла в руках взрослых.

Здесь мне пять недель. Заботливой рукой мамы так написано на обороте фотографии.

Взгляд настороженный. Мол, куда это меня занесло, что со мной будет?

Очень скоро узнаю! Через два с половиной месяца.



В конце лета того же 1930 года в Москве и области разразилась эпидемия полиомиелита — детского паралича. Обязательная теперь прививка каждого младенца отсутствовала. Соответствующая вакцина ещё не была изобретена.

Маму, как детского врача, несмотря на то что у неё был грудной ребёнок, срочно направили на борьбу с этой страшной болезнью.

И надо же было так случиться: я заразился. У меня, трёхмесячного, парализовало правую руку и правую ногу.

С этого времени мама много лет терзалась чувством вины, таскала меня на руках по профессорам, массажам, электрофорезам, евпаторийским грязям. Несчастье свалилось на неё и отца. Я же, к счастью, был настолько мал, что ничего не соображал. Вот мне уже пять месяцев. На снимке пока не видно никаких примет болезни.

Но взгляд всё такой же. Настороженный. Люди в белых халатах порой делают больно — массаж, уколы...



К тому времени, когда мне исполнился год, правая рука в результате усилий врачей и мамы восстановилась. А вот нога начала отставать в росте. Впоследствии укорочение достигло 7 сантиметров. И я на всю жизнь остался инвалидом. Пока был маленьким, долго носили на руках.

Родителям нужно было работать. Появились няни. Одна за другой. От перемены лиц я несколько шалел. Именно с этих пор начинаю помнить себя.



Как и во многих других семьях, мама завела обычай фотографировать своё чадо в день рождения.

Здесь мне уже два года, маме — тридцать лет. Рядом — няня.

Читатель, перелистывающий эти страницы, тоже когда-то был маленьким человеком. Его тоже носили на руках, заботились о нём так, как потом никто никогда не заботился. Проходит время. Мы становимся взрослыми. Умирают родители. А память о нежных тёплых руках, поддерживающих тебя, бережно вносящих в мир, не исчезает...



Мне три года. Любящие родители оберегают, жалеют. Мы живём на верхнем этаже двухэтажного деревянного домика во Втором Лавровском переулке Москвы, похожем на деревенскую улицу.

Зимой, вернувшись с работы, папа приносит со двора из нашего сарая мёрэлые охапки дров.

Вместе растапливаем печку.

Тепло в двух маленьких комнатах держится ночь и весь день.

С утра родители вынуждены оставлять меня одного. Потому что в эту зиму у нас нет няни.

Иногда забегают соседки присмотреть за мной, проверить, поел ли я то, что перед уходом на работу приготовила мама.

Бесконечны зимние дни, проведенные в одиночестве среди игрушек и детских книжек... От этого одиночества очень рано выучился по складам читать.

А вот улыбаться ещё не научился.



Смутно помню, что она появилась откуда-то с Украины, где исчез хлеб и люди сплошь умирали от голода. Звали её Оля.

Она прожила у нас год, исполняя обязанности моей няни.

Родители учили её читать, писать, арифметике. После чего мама устроила Олю на курсы медсестёр.

Впоследствии Оля погибла на фронте во время Отечественной войны.



Наконец-то на четвёртом году жизни научился улыбаться. Однажды к нам приехал в командировку из Харькова папин родной брат, которого я полюбил. С его появлением нарушилось обычное течение будней. С тех пор обожаю, когда приезжают гости.



Тут уж я улыбаюсь, как говорится, до ушей. Ещё бы, дворовое братство приняло меня в свою компанию!

Сижу в кепаре второй справа в первом ряду. И снимает всех нас не кто-нибудь, а мой папа, который на фабричную премию приобрёл аппарат «Фотокор»!



К пяти годам, несмотря на инвалидство, подначиваемый дворовой братвой, я стал шалуном.

Был допущен к играм в ножички, расшибец, отмерялы, лапту. Даже стоял вратарём в воротах, означенных двумя кирпичами или портфелями.

Сражался с девчонками в «фанты», а с мальчишками даже в картишки — в подкидного дурака.

Возвращаясь с работы, родители насильно уводили меня со двора. Чумазого, в синяках и ссадинах.



Отмытого, переодетого и причёсанного отвели 19 мая 1935 года сфотографироваться в очередной день рождения.



Однажды завели в гости к какой-то благонравной девочке, всунули в руки игрушку — вертушку. Сижу, неловко вытянув больную ногу. Терплю.



Сквозь даль времён едва различаешь на этом маленьком снимке евпаторийский ресторан «Поплавок», море, зачаленную яхту «Ниночка» и меня с родителями.

Каждую зиму они копили деньги, чтобы ежегодно возить меня летом на лечебные грязи, вроде бы очень полезные для больной ноги.

После сеансов этих проклятых грязей наградой мне было Чёрное море. Мама учила плавать. Грек-лодочник дядя Костя учил грести, ловить самодуром рыбу.

С тех пор, едва вернувшись в Москву, уже начинал считать месяцы и дни до новой встречи с морем.



Осенью мы с папой пошли в зоопарк. Навестив зверей, отдыхали на скамейке. Папа сфотографировал меня, я — папу.

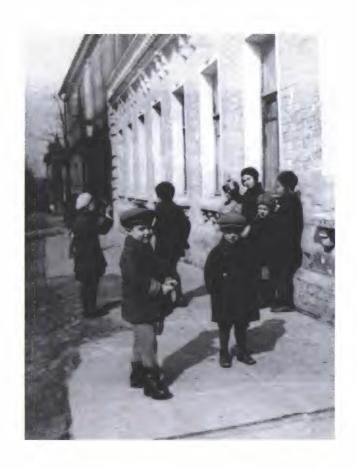
Когда вижу эту скромную, объединённую фотографию, всегда с горечью думаю о том, что впоследствии, уже будучи взрослым, недодал своему отцу любви.



Весной коловращенье ребятни во дворе вырывалось и на улицу. Девчонки скакали на тротуаре через верёвочку, пацаны, сплёвывая и матерясь, лихо подкидывали ногой «лянгу» — клочок шерсти с куском свинчатки, поджигали прибившийся к бровке тротуара тополиный пух.

Осенью от греха подальше мама определила меня в старшую группу детсада.

Рука судьбы! Это оказался сад Литфонда — для детей писателей.



Наблюдаю в детском саду за играющими в шашки. Примерный мальчик.

Между прочим, игры в шашки и шахматы сразу показались мне в высшей степени странным времяпровождением. Часами торчать у стола, передвигать деревяшки по деревянной доске...



Летом 1936 года детский сад вывезли в Подмосковье на дачу.

Навестил меня папа с гостинцами и фотоаппаратом. На снимке я второй слева в первом ряду. Из-под штанишек позорно выглядывает кончик трусов с резинкой. А сзади видны двое ребят с «испанками» на головах. Это такие красные пилотки с кисточками. В те годы их носили бойцы, сражавшиеся с фашистскими войсками в далёкой Испании.

Я уже знал слова «фашизм», «Гитлер», «бомбёжка»... С тех пор Испания— моя боль и любовь.

Как же я был счастлив, когда через много лет оказался в этой стране! Словно в собственном детстве.



Как-то зимним воскресным утром я застал папу за странным занятием. Всклокоченный, с красными от бессонной ночи глазами, он рылся в большой картонной коробке из-под торта, где у нас хранились старые фотографии. Нервничал. Часть фотографий свалилась на пол.

В конце концов он нашел то, что искал, — групповой снимок 1929 года. Там он был снят со своими шестью сослуживцами.

Папа взял ножницы, отрезал от этого снимка больше половины, открыл дверцу топящейся печки. И бросил отрезанное в огонь.

- Зачем ты так сделал? спросил я, держа в руке ту часть фотографии, где остались лишь папа и его товарищ.
 - Они оказались врагами народа, ответил папа.
 Был 1937 год.



Летом того же года с родителями переехал из Ленинграда в Москву мой двоюродный брат старшеклассник.

Его звали Алик.

Хорошо помню, как был с папой у них в гостях, как Алик показывал мне свой телескоп, карты звёздного неба, коллекцию почтовых марок. Подарил книгу — «Робинзон Крузо».

Потом папа сфотографировал нас с его отцом у них во дворе.

Через четыре года началась Великая отечественная война. Десятиклассник Алик рванулся записываться в народное ополчение.

Эшелон с добровольцами до фронта не доехал. По дороге фашистская авиация разбомбила его.



Запечатлённое утро 1 сентября 1938 года.

Сопровождаемый двумя старшими девочками-соседками, впервые отправляюсь в школу.

Счастливый тем, что иду без родителей, не как остальные первоклашки.

Начинается взрослая жизнь!



Папу призвали в вооруженные силы. Ни винтовки, ни пистолета, ни даже сабли у него не было. В чине, соответствующем званию капитана, служил в Реввоенсовете, в отделе снабжения Красной Армии шинелями.

Мама к тому времени числилась майором запаса медицинской службы. Шутила: «Если мы встретимся в форме, должен будешь отдать мне честь!»



Каждое лето мама продолжала возить меня в Евпаторию на грязи. Нога отставала в росте, подворачивалась ступня. Не мог бегать, как другие ребята. Одноклассники дразнили — «Кочерга!»

Мама утешала меня, баловала, закармливала.

Но единственным настоящим утешением было для меня море. И чтение книг. Я стал запойным читателем. Записался в евпаторийскую детскую библиотеку, а по возвращении домой —в школьную.



При свете красного фонаря я сидел у стола рядом с папой. Смотрел на то, как сквозь раствор проявителя на фотопластинке возникает из небытия наш второй класс, наша учительница Вера Васильевна.

Волшебство!

Вот и я, девятилетний. В клетчатой рубашке. Привстал от волнения, оттого, что нас фотографирует именно мой папа.

С тех пор прошло много десятилетий. Фотография поблекла. Большинство этих мальчиков и девочек наверняка уже ушли в небытие. Тоже в некотором смысле волшебство.



Почти каждому в течение жизни выпадает участь попасть на операционный стол. Иногда не раз.

В 1940 году мне исполнилось десять лет, когда мама, постоянно обеспокоенная состоянием моей ноги, привела меня на консультацию к профессору Зацепину.

После осмотра тот сказал, что сейчас, пока я расту, необходима сложная операция. Которую осенью он сделает сам. После неё придётся несколько месяцев пролежать в больнице. А потом дома. С ногой, закованной в гипс.

Так получилось, что после визита к профессору мама привела меня к фотографу, где был сделан этот снимок.

Акак же школа, мой третий класс? — спросил я маму.

Всё лето жил приговорённый к операции. Опять разучился улыбаться.



За долгое время, пока я находился в больнице, родители обменяли две наших комнаты в деревянном доме на одну. Зато большую. Зато с паровым, а не с печным отоплением.

Из больницы меня привезли в это новое жилище — коммуналку на улице Огарёва, где в длинный коридор выходило двенадцать комнат.

Это было самое сердце Москвы. Рядом Центральный телеграф. Совсем близко — Кремль. Летом в раскрытое окно доносился бой курантов.

Всю зиму я вынужден был пребывать на диване с ногой, закованной гипс.

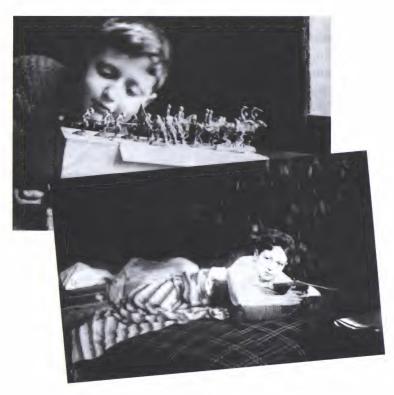
Хотя школа моя оказалась теперь очень далёкой, учительница Вера Васильевна и ребята часто навещали меня, привозили домашнее задание, рассказывали о школьных новостях.

Года я не потерял. Третий класс закончил отличником. Но от неподвижности, болей в ноге не знал куда себя деть.

Родители подарили трёхтомник Брема «Жизнь животных». Вообще прочел груду книг. Сражался сам с со-

бой в солдатики, пулял в мишень из игрушечного ружьеца, из пушечки, стрелявшей карандашами.

...Не ведая о том, что скоро коренным образом изменится моя жизнь, жизнь мамы и папы, всей страны.



XX, XX, XX— чертили римские цифры скрещения прожекторов в ночном небе над Москвой. Двадцатый век...

Беда была маме со мной, когда во время очередной воздушной тревоги нужно было быстро подняться с постели, одеться и под раздающийся из репродуктора надсадный вой сирены бежать в темноте среди толпы спасаться под землю в метро «Охотный ряд».

По дороге у меня почему-то всегда развязывались шнурки на ботинках. Мама, пригнувшись, торопливо завязывала их, а с крыш окрестных зданий по фашистским бомбардировщикам бухали зенитные орудия, и осколки снарядов шваркались на мостовую.

Немецкие войска стремительным широким фронтом от Балтики до Черного моря занимали территорию Советского Союза, подошли вплотную к Москве. Было уже не до игр в солдатики.

В первые же дни войны папа ринулся в военкомат записываться добровольцем. Но его не взяли из-за грыжи. Тогда он добился отправки на трудовой фронт — в Сибирь на лесоповал.

А в конце сентября 1941 года меня с мамой, как тысячи других, эвакуировали в Ташкент. О том, что там со мной происходило, подробно рассказано в моей книге «Навстречу Нике».

…Эта моя фотография — утверждённая фотопроба на роль юного раненого партизана в художественном фильме. Киноартистом я не сделался, во-первых, потому, что к началу съёмок ухитрился заболеть, а во-вторых, в начале 43 года маму вызвали в Москву и мы возвратились домой, в разграбленную кем-то комнату.



Это осталось запечатленным только в памяти: через ташкентский базар еду на ослике в школу; в госпитальной палате читаю тяжелораненым письма и газеты; с одноклассником Рудиком тайно собираюсь бежать на фронт.

Вернулся в Москву уже не ребёнком, а тринадцатилетним подростком. Поступив в новую, третью в жизни мужскую школу, расположенную неподалёку от дома.

Школа оказалась «образцово-показательная», руководимая директором Фёдором Фёдоровичем — орденоносным солдафоном Двоефедей. Казарменная обстановка, идиоты-учителя. Преподавательница географии, к примеру, объясняла, что в Англии живут «шерстяные овцы», а в Антарктиде обитают «пингуины». Одноклассники — преимущественно отпрыски военачальников и прочей сталинской знати, живущей в центре Москвы.

Шестой, седьмой классы — сплошь драки, издевательства над моей фамилией, моей хромотой... Каждое утро шел мимо Моссовета в школу, как на казнь. Впервые острое чувство одиночества. И это в 1945 — году, когда победили фашистов.

От отчаяния, одиночества начал писать стихи.

Летом 1946 года был помощником пионервожатого в лагере. Стою самый длинный под знаменитым лозунгом...



В 1947 году к нам из Днепропетровска приехала Ляля — дочь маминой сестры. Она была старше меня на три года. Нас отправили сфотографироваться.

Ляля вскоре вышла замуж, родила сына. Сын вырос, окончил школу, пошёл в армию. Однажды Ляле пришло сообщение о том, что ей отправлен гроб. С телом её мальчика.

Что с ним произошло в воинской части, ей не сообщили. От потрясения у Ляли развился диабет.

И она умерла.



С морем невозможно чувствовать себя одиноким.

За долгие годы соскучился по нему, писал о нём стихи. Боялся, что разучился плавать.

Плавать не разучился, добыл удочку, тягал из прибрежных волн бычков. Наплававшись, поджаривал среди пляжа на костре.

Сейчас не вспомнить, у кого тогда жил, а вот кто меня сфотографировал — помню. Это был демобилизованный после войны пожилой грузин. Чудный человек с изуродованным взрывом лицом. С тех пор отношусь ко всему поколению ветеранов той войны с преклонением и любовью.

Среди них мне не встретилось ни одного плохого человека. Это было лучшее поколение нашей страны.



В школе стало так мерзко, что пришлось её поменять. Всё равно учился теперь кое-как. Весь ушел в стихи.

«Я с атласом раскрытым засыпал, щекою навалившись на Урал, Во сне я шел меж сёл и городов. Цепляли ногу якоря портов...»

Оказалось, при газете «Московский комсомолец» создано литературное объединение молодых поэтов. Такое же открылось при МГУ. Приходили туда и молодые поэты, донашивающие фронтовые шинели. И такие юнцы, как я. Там читали стихи «по кругу», обсуждали их под руководством часто сменяющихся мэтров из Союза писателей.

Познакомился со многими своими ровесниками. Поскольку я жил в самом центре, они, проезжая мимо, обычно забегали ко мне, и, если мама была дома, она подкармливала каждого. Потом читали друг другу новые стихи.

Так я обрёл вокруг себя много приятелей — поэтов и поэтесс. Но всё равно продолжал чувствовать себя среди них одиноким. Жизнь вокруг была страшной и непонятной.

...Маяковский, Багрицкий, Уолт Уитмен — вот кто были мои истинные друзья. Молодой поэт Владимир Корнилов подбил обменять его однотомник Пастер-

нака на какую-то мою книгу. Так ко мне попало сокровище.

Невозможно было поверить тогда, что со временем буду обласкан Пастернаком, подружусь с мамой Маяковского Александрой Алексеевной.



В девятом классе во время весенних школьных каникул не выдержал затяжной московской зимы. Сбежал из дома в Одессу.

Приключения беглого школьника описаны в моей книге «Навстречу Нике».

Одним из приключений было посещение в порту индийского сухогруза «Джалакендра». Чудом попал на заграничный корабль с молчаливого согласия пограничников.

С борта угрюмо наблюдал за мной полуголый моряк. Навстречу сходил по трапу великолепный капитан Джопиндер Сингх.

На корабле благодаря гостеприимству капитана и команды угостили сигарой, кофе и виски. Запомнилось на всю жизнь!



Ярким, солнечным утром проснулся счастливый оттого, что накануне сдал самый трудный для меня экзамен по математике. Оставалось сдать несколько лёгких.

Заложив руки за голову, лежал на постели. Глядел в окно, в голубизну неба.

И вдруг!

До этого мгновения я никогда не интересовался мистикой, религией. Правда, к тому времени наряду с увлечением поэзией пристрастился читать Платона и другие философские книги. Правда, сызмальства было ощущение чьего-то незримого присутствия.

Потрясенный тем, что тогда произошло, я никому ничего не рассказал.

Но с тех пор внутренняя жизнь моя стала странным образом меняться. Отныне со мной всегда была моя тайна.

Лишь через много лет, в 1978 году, во время исповеди перед крещением я робко поведал отцу Александру Меню о том, что тогда случилось.

— К вам приходил Христос, — уверенно сказал он. — Так бывает не только с вами. Иногда Он приходит для поддержки в самом начале пути.

Много позже я решился рассказать всё, как было, в своей книге «Здесь и теперь».



В то лето тощую стопочку моих стихов передали прочесть старой поэтессе Надежде Павлович. Когда-то она была дружна с Александром Блоком, другими поэтами «серебряного века».

Если бы я не получил от неё в высшей степени одобрительного письма, у меня, наверное, не хватило бы духа попытаться поступить учиться в Литературный институт. Тогда у мальчишки, только закончившего школу, тем более еврея, не должны были даже принять документы, допустить до творческого конкурса.

А меня допустили, документы приняли. И я стал студентом Литературного института.

К огорчению отца. Который считал, что я должен стать, как он, инженером. Мама была рада за меня. Друзья-приятели завидовали.

А я легкомысленно представлял себе, что уже сделался без пяти минут писателем.



Мартовский весенний снежок выпал за ночь на Москву, на брусчатку Красной площади.

Накануне по радио объявили о смерти Сталина. Полагалось плакать.

Я не плакал. У меня к Сталину были вопросы. И я их, будучи старшеклассником, задал ему в письме. Которое хватило ума не подписать.

И вот теперь ранним утром мы с приятелем, получив от солдата по деревянной лопате, сгребали снег на Красной площади. Рядом трудился китайский военный с погонами лётчика.

Нужно было что-то делать. Было чувство, что страна замерла накануне больших перемен.

Мы сгребали снег. В мёртвой тишине над головами раздавался перезвон курантов Спасской башни.



Летом 1953 года я второй раз был направлен институтом на практику в газету «Сталинградская правда».

Первая практика проходила несколькими годами раньше, когда я по заданию редакции оказался в станице Клетская и в силу неожиданных обстоятельств девятнадцатилетним юнцом вынужден был на день возглавить восстание вооруженных казаков. Остановил убийства. Потом на почтовом самолёте «У-2» спасался от въезжающих в станицу моторизованных воинских частей.

Через много лет я написал об этих событиях киносценарий. (До сих пор не поставленный.)

Вторая практика проходила на строящейся тогда Сталинградской ГЭС.

Стою у пульпопровода земснаряда, на котором буду жить с полупьяной командой. Вскоре впервые увижу смерть человека.



Прошел XX съезд, вроде бы наступила «оттепель».

Я продолжал писать стихи, пытался опубликовать их в журналах и газетах. Сейчас я удивляюсь своей наивности. При этом знал: прятаться за псевдонимом никогда не стану.

Писал поэму, которую собирался представить в качестве дипломной работы по окончании пятого курса литературного института. Поэма была о погибшем в сталинских застенках моём ровеснике.

Кроме того, по просьбе студента режиссёрского факультета ВГИКа Бориса Рыцарева написал сценарий учебного фильма.

И вот сижу в уголке павильона, смотрю, как снимают первые кадры. Боря был хороший парень, но я смотрел и понимал, что его увлекает собственная командирская роль режиссёра, техника съемок, а не суть дела.



Поздней осенью жду поезда на маленькой станции рижского взморья. Может быть, это Майори, может, Дубулты.

Закончен институт. Защитил диплом. Поэмы испугались. Пришлось заменить циклом стихов.

В утешение через Союз писателей выдали бесплатную путёвку в пустующий Дом творчества, расположенный под соснами в Дубултах.

Не сезон. Холодное, пустынное море под серым небом.

Неизвестно, как дальше жить. С дипломом ни на какую работу, даже в газету, даже в провинциальную, не берут — «нет вакансий»...

К этому времени подружился в Москве с писателями старшего поколения — Л.К. Чуковской, Ф.А. Вигдоровой, В. Б. Шкловским. Они с нежностью относятся комне, моим нигде не печатающимся стихам. Дарят свои книги.

Шкловский подарил вышедшую ещё до войны интереснейшую книгу «О Маяковском». С такой надписью — «Это книга о трезвых, как Ленин, Маяковский. Этого я не дописал».

Было над чем подумать.



Дружба с этим человеком растянулась на много лет. Христо Нейков — болгарский художник-карикатурист, график. Нас познакомили в трудную для меня пору.

Приезжая из своей Софии, этот добродушный гигант часто останавливался у меня в коммуналке. Стал любимцем и моих родителей.

Я знакомил его с Москвой, её музеями, возил в Троице-Сергиеву лавру.

Однажды, уезжая, Христо подарил мне свою кожаную куртку с меховой подстёжкой. Тепло этой куртки долгие годы как-то по-особому согревало.

Много позже Христо Нейков принимал меня у себя в Болгарии. Познакомил с женой и сынишкой Нейко.

Он стал для меня как брат.



Когда я очередной раз был в гостях у Лидии Корнеевны Чуковской, она строго сказала:

— Вместо того чтобы писать стихи, заниматься своим главным делом, убиваете себя безнадёжными поисками работы. Предположим, в конце концов возьмут в какую-нибудь газетёнку, заставят писать статейки, которых сами же будете стыдиться... Поезжайте-ка в Крым, в Коктебель к моей давней знакомой Марии Степановне Волошиной. Вот письмо для неё. Поживёте рядом с вашим любимым морем. Дать вам денег?

Я отказался. Деньги дала мама.

...Всю осень и всю зиму 1958 года прожил в знаменитом Доме поэта на пустынном тогда берегу. Если не писал, ловил рыбу, собирал на пляже выброшенные морем агаты и сердолики. Странствовал среди гор и холмов с дворняжкой Шариком.

Верующая старушка Мария Степановна заставила прочесть Библию. Вместе встретили Рождество. Она же допустила меня к старинной библиотеке Волошина. Впервые прочёл книги М.Булгакова— «Роковые яйца», «Собачье сердце»... И многое другое. Написал поэму «Якоря».

В начале весны узнал по телефону о том, что мама, идя вечером с работы, поскользнулась на льду, сломала кисть руки.

Уговорил её приехать ко мне в Крым, лечиться в санатории.

Для нас с мамой это было счастливое время. Чувствовал ответственность за её здоровье, её жизнь.

Вместе прокатились в Севастополь.



Слета следующего года я всё-таки нашел два способа минимального заработка. Стал ездить внештатным корреспондентом от разных газет и журналов в командировки по СССР.

Начались долгие годы странствий. Куда меня только не заносило. В какие только перипетии не попадал. Слава Богу, бедные мои родители об этом ничего не знали.

Благодаря такого рода кочевьям познавал жизнь моей Родины как она есть от Заполярья до Владивостока. С тех пор у меня сохранилась карта Советского Союза, где красным карандашом отмечены места, в которых я побывал.

В промежутках между поездками получал рукописи романов и повестей в «Новом мире», «Роман-газете», писал внутренние рецензии. Платили мало. Но мною двигал азарт найти в графоманском потоке хоть что-нибудь хорошее. Изредка находил. И тогда приходилось уговаривать редакцию, чтобы опубликовали. Удавалось крайне редко.

В 1959 году издательство «Детгиз» выпускает книжечку моих стихов. Получаю материальную возможность снова сбежать на зиму из своей коммуналки на этот раз не в Крым, а в Сухуми. Перед отъездом сдаю в издательство «Советский писатель» рукопись книги стихотворений — «Над уровнем моря».

В Сухуми на рыбацком причале знакомлюсь с бывшим командиром дивизиона «морских охотников» Георгием Павловичем Павловым. Этот человек стал мне другом, доверил свою шлюпку.

Через насколько лет подарил перед смертью парадную шпагу немецкого адмирала.

Она до сих пор висит у меня над книжными полками.



Несколько зим я снимал то комнатёнку близ сухумского лодочного причала на реке Беслетке, то самый дешевый номер в гостинице «Абхазия».

С утра выходил к причалу. Вставлял вёсла в уключины шлюпки и выгребал из реки в море. Курил трубку, как заправский моряк.

Ставрида, скумбрия, сельдь — вот что обычно ловилось на мой самодур.

Бывало, попадал в шторм со смерчем.



Глядя со стороны, приятели завидовали моему образу жизни. Многие из них были уже женаты, обзавелись детьми. А я всё так же возвращался из своих странствий в коммуналку к родителям. Они работали, старели, порадовать их было нечем.

Я продолжал не брезговать никакой внештатной работой. Как-то осенью в редакции радио, вещающего на заграницу, попросили взять интервью у Б.Л. Пастернака. Которого тогда травили за опубликованный за границей роман «Доктор Живаго».

Я рассказал об этом Лидии Корнеевне Чуковской.

— Он в Переделкино. Поезжайте! — сказала она. — Давно хотела вас познакомить, рассказывала о вас. Возьмите с собой стихи, покажите ему.

Стихи я не взял. Но поехал.

Как принял меня Борис Леонидович, какой счастливый вечер провёл я у него, об этом рассказано в одной из моих книг.

«Владимиру Файнбергу на счастье», — написал он летящим почерком на подаренном мне отдельном издании своего перевода «Гамлета».

Днём позже Лидия Корнеевна подарила любительское фото, где она снята с Пастернаком. Плохонькое фото. Но для меня дорогое.



В 1961 году произошли два события, которые, как я надеялся, станут переломными и я обрету хоть какой-то официальный статус. От милиции, пытавшейся обвинить меня в тунеядстве, спасала только моя инвалидность.

Теперь я мог узаконить свои отношения с государством, попытавшись стать членом Союза писателей. Дело в том, что под редакцией Михаила Светлова наконец вышла в свет книга стихов «Над уровнем моря». В «Литературной газете» появилась осторожная, но вполне благожелательная рецензия известного критика.

В этом же году меня неожиданно легко приняли на Высшие курсы сценаристов.

Казалось, наступил конец странствиям.

Нужно было в течение двух лет посещать лекции, смотреть и обсуждать по два-три шедевра мирового кино.



Зная о том, как я привык к морю, как худо мне в Москве без него, компания друзей летом на юге сколотила плот, назвала моим именем и отправилась в плаванье.

Не ведаю, насколько далеко удалось проплыть, но присланные фотографии навсегда остались трогательным памятником нашей дружбе.





Пассажирский пароход «Кулу», перевозивший в сталинские времена заключенных с материка на Камчатку, вёз теперь несколько сотен студенток дальневосточных вузов, отправленных во время летних каникул работать на южнокурильский остров Шикотан. Там в пик путины они должны были трудиться в три смены на консервном заводе — закатывать в баночки сайру.

Лёгкий на подъём, я не пренебрёг случайной возможностью получить длительную командировку. Перелетел из Москвы во Владивосток, взошел по трапу на «Кулу». Я был единственным пассажиром-мужчиной в обществе оробевших девушек.

Через несколько суток плаванья по Тихому океану и Охотскому морю мы высадились на краю света— на Шикотане.

Я прожил там несколько месяцев. О событиях на острове, о том, что пришлось пережить вместе с девушками, — об этом рассказано в опубликованной спустя пять лет моей повести «Свет на вулкане».

Обратно во Владивосток возвращался на том же «Кулу». Команда встретила меня как родного.

...Стою счастливый с двумя штурманами и матросом.



Режиссёр Б. Рыцарев сделал снимок, когда я мёртвым сном спал в нашем номере ялтинской гостиницы.

Он создавал художественный фильм «Валера» по моему дипломному сценарию. В основу этой истории легли впечатления от моих странствий по России.

Я был прикомандирован на всё время съёмок к киноэкспедиции, которая сначала базировалась при ялтинском филиале московской студии им. Горького.

Присутствие моё оказалось лишним. Режиссёр упивался своей властью, к моим робким замечаниям прислушиваться не хотел. Он совершенно не знал той жизни, о которой снимал картину.

Чтобы не доводить дело до открытого конфликта, я решил сам поставить этот фильм. Пусть не на плёнке— на бумаге. Короче говоря, написать повесть.

Пока павильонные съёмки шли в Ялте, я снял напрокат лодку и занялся привычным делом: по утрам ловил рыбу в зимнем Чёрном море.

К весне 1964 года для натурных съёмок экспедиция переехала в Новую Каховку.



Гостиница в Новой Каховке одиноко стояла на самом берегу реки, разлившейся после закованного плотиной Каховского водохранилища на несколько рукавов с поросшими лесом и камышом островами.

За время съёмок я по утрам обследовал на лодке протоки между островами, научился ловить речную рыбу. Днём подвозил к гостинице свой улов, сдавал в ресторан. Когда киногруппа сходилась к обеду, повар торжественно подносил к столу блюдо, полное зажаренной рыбы.

В свободное время сам ставил на бумаге свой фильм — писал повесть. Через несколько лет издательство «Детгиз» выпустило в свет «Завтрашний ветер» — первую мою прозу.



Как-то вдруг обнаружилось — мне идёт четвертый десяток... Прошла половина жизни!

Ни жены, ни ребёнка.

Были влюблённости, были романы. Но всё так же теснился я в одной комнате с родителями, работал ночами на коммунальной кухне.

В ту пору, казалось, всё стало удаваться.

Был принят в Союз писателей. Выходила в свет вторая книга стихов. Киностудия «Мосфильм» заключила договор на киносценарий. Фильм «Валера» прошел по экранам страны. Я получил крупный гонорар, смог внести взнос за двухкомнатную кооперативную квартиру и переехать в неё.

Короче говоря, с точки зрения некоторых людей, стал завидным женихом.

И меня женили.

Этот период жизни — саднящая рана, о которой не хочется вспоминать. Скажу только, что я не смог уберечь родившегося у нас сына от влияния жены и её многочисленных родственников, их рваческой психологии. Это были люди, обуреваемые вечной жаждой урвать какие-нибудь блага. Чего я только не делал, чтобы защитить от этой заразы своего мальчика! Читал ему хорошие книжки, вывозил на природу — на море,

на озёра Карелии. Пытался приохотить хотя бы к рыбалке, отвлечь от пошлых идеалов жены.

Ничего не вышло! В конце концов жена, к счастью для меня, подала на развод. Сначала забрала сына. Потом, окончательно изуродовав, выгнала ко мне.

Он вырос. Эмигрировал. Живёт теперь где-то в США.



Тем временем личная драма не могла заслонить того, что происходило вокруг. В магазинах исчезали продукты, мебель. Всё становилось дефицитом. Отец был счастлив, когда как ветеран труда смог купить комплект простынь.

Появились проповедники, вещающие о приблизившемся конце света. Тень термоядерной войны нависала над миром.

Рукописи моих новых книг залёживались в издательствах, расторгались договоры на сценарии.

«Оттепель» явно кончалась. На кухнях диссидентов, в мастерских художников, даже в Союзе писателей шёпотом рассказывали анекдоты о Брежневе, о советской власти.

Как многие в ту пору, я взялся перечитывать сочинения Маркса, Ленина.

Ответов на мои вопросы у них не находилось. Не ясно было, как жить дальше.

И тут я ухватился за предложенную мне возможность снова поступить на Высшие курсы. В этот раз на режиссёрское отделение. Решил, что по окончании учёбы буду снимать художественные фильмы. Таким образом получу материальную независимость и в свободное время стану вольно писать что хочу и как хочу.



...Снова просмотры шедевров, лекции знаменитостей. Слушателей набрали не столько по творческому конкурсу, сколько по разнарядкам из республик. Самых шустрых, отпрысков больших начальников. Чуть не все мои сокурсники считали себя на худой конец будущими Феллини.

Одно время у нас читал лекции Андрей Тарковский. При полной противоположности характеров мы странным образом подружились. Он начал бывать у меня. Вздумал поставить фильм по одному из моих сценариев. Уже договаривался с «Мосфильмом». Уже мы вместе начали дорабатывать сценарий. Но вскоре это дело ему запретили. И Андрей занялся «Солярисом».

А я в соавторстве с другим выпускником снял на минской студии дипломный фильм по чужому сценарию — «Там вдали, за рекой».

И понял, что занялся не своим делом.

Но ложный путь продолжал уводить меня от самого себя. Я был направлен снимать художественные фильмы на Центральном телевидении. Три года проторчал в объединении «Экран», где меня заставляли стряпать фильмы-концерты и прочую чепуху.

Через три года судьба сжалилась надо мной. Я был уволен «по сокращению штатов».



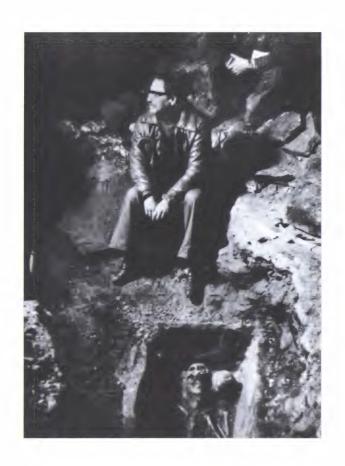
Итак, меня привело к тому месту в моей жизни, где я оказался в пустоте. Не за что было ухватиться. Последние иллюзии развеяны. Стихи, проза, сценарии пробиться за колючую проволоку цензуры не могут.

Лишь читатели моих прежде вышедших книг и мама поддерживали меня. Отец же повторял: «Говорил тебе — нужно было идти в инженеры». Теперь мы жили втроём в моей новой квартире. Родители продолжали работать. Уходили с утра. А я оставался...

Снова, как когда-то, читал и рецензировал чужие рукописи.

Именно в эту пору середины семидесятых годов через друзей и знакомых ко мне во множестве начали попадать творения индийских йогов, западных мистиков и доморощенных целителей, знахарей. В промежутках между чтением чужих производственных романов с изумлением листал эзотерические манускрипты, пытался понять — это вздор или тут таится что-то серьёзное. Собственный опыт говорил о том, что не всё так просто. Возникало множество вопросов, которые некому было задать.

Дело кончилось тем, что однажды я перешагнул порог полуподпольной лаборатории парапсихологии при обществе им. А.С. Попова. Здесь под руководством её за-



ведующего, физика- теоретика, в течение нескольких лет прошел курс тренировок. Участвовал в опытах с растениями, с людьми.

В результате появились первые исцеленные мною больные.

А летом 1974 года по просьбе грузинских археологов нашел ладонью в селе Нокалакеви древнейшее захоронение человека античных времён.

Отныне стал всем нужен. Со всех городов и весей, из заграницы ко мне потекли больные. А также искатели истины. Но мне нечего было им сказать. Я и сам толком не мог понять, что со мной произошло. Знал только: писать по-старому не смогу.



Морозным январским утром 1978 года у церкви подмосковной Новой деревни я встретился с человеком, который смог ответить на мои вопросы.

Он горячо поддержал меня как писателя, целителя. Это был отец Александр Мень.

Двенадцатого июня того же года он крестил меня.

С тех пор двенадцать лет вплоть до его страшной гибели мы дружили. Как братья. Отец Александр часто бывал у меня, ночевал. Познакомил со своей мамой — Еленой Семёновной, доверил лечить от болезней.

В ту пору я писал свою первую большую книгу — «Здесь и теперь». Он постоянно следил за тем, как идёт работа, вселял уверенность в нужности моего труда.

Вместе мы совершили путешествие по Узбекистану. Побывали в Самарканде, Хиве, Бухаре. На следующий год прожили месяц под Дербентом на берегу Каспийского моря.

О том, каким был Александр Мень, я написал воспоминания, выдержавшие много изданий.

...Всё привыкаю и не могу привыкнуть к тому, что приходится жить без него.



Работа над книгой растягивалась на годы. Писать по-старому стало невозможно. Мировоззрение моё в корне изменилось. Новый опыт требовал новых способов выражения.

Я боялся умереть, не успев рассказать обо всём, что со мной стряслось. Был убеждён — ошеломляющий опыт моей маленькой жизни я обязан донести до людей.

При всём том нужно было как-то существовать. И вот как бы сам собой сложился несколько фантастический образ жизни.

Зиму я теперь проводил в Москве. А ранней весной в качестве внештатного корреспондента «Литературной газеты», прихватив папку с рукописью, вылетал в очередную командировку. В Таджикистан, Узбекистан или Туркмению.

Сначала мотался по стройкам высокогорных плотин, научным учреждениям. Собирал материал на очерк.

Потом удирал от всего этого в джунгли «Тигровой балки» или какого-либо другого заповедника. Жил и работал в сторожках уже знакомых егерей. Среди дикого зверья.

Контраст между тем, о чем я писал, и тем, что окружало меня, давал невероятный творческий импульс.



Та девочка, которая в 1917 году ехала на санях с подружками в гимназию и впоследствии дала мне жизнь, так вот та девочка, ставшая моей мамой, умерла в 1980 году.

О трагических обстоятельствах, при которых это случилось, о том, как за день до смерти она выразила желание креститься и как я сам её крестил, написано в романе «Здесь и теперь».

... Мы с отцом остались без нашего земного ангела.

Отец получал свою маленькую пенсию, порывался снова ходить на работу, терял зрение, слабел. Очень стеснялся, когда я помогал ему мыться в ванной.

Теперь, уезжая в очередную командировку, приходилось оставлять его на попечение друзей.

Он пережил маму на пять лет. Умер в больнице, когда меня не было в Москве. Санитарка потом рассказывала, что в последние часы всё звал: «Володя, Володя...»

Хорошие были у меня родители. Не получилось дать им радости...



На много лет мой дом стал для меня лишь базой, откуда я уезжал и куда возвращался.

Отпирал дверь, входил в комнату и видел: над изголовьем тахты среди других семейных фотографий висит особенно дорогое для меня фото — Маяковский положил руку на плечо Пастернака. Фрагмент по моей просьбе выпечатал из группового снимка знакомый кинооператор.

Это были проводы Маяковского за границу.



И вот случилось так, что в 1981 году, ещё до перестройки, мне предложили включиться в туристическую группу писателей, отправляющихся в поездку по ГДР.

Обязательно поезжайте! — сказал мне отец Александр. — Вам необходимо видеть мир.

Так я впервые пересёк границу Советского Союза. Побывал во многих городах Восточной Германии. А в Берлине покурил у самого «железного занавеса» в виду Бранденбургских ворот.



И началось! Судьба неожиданно становилась по-царски щедрой.

Весну 1983 года я встретил в Испании — самой любимой стране. А несколькими годами позже совершил большое путешествие по Египту от Каира до Асуана, переплывал на парусной лодке Нил.

И это оказалось только началом моих зарубежных странствий.

За рубежом, повинуясь инстинкту, каждый вечер заносил впечатления в записные книжки.



Кроме большого романа к концу восьмидесятых годов была написана повесть «Что с тобой случилось, мальчик?». Несмотря на начавшуюся эпоху перестройки и гласности, опубликовать роковым образом ничего не удавалось.

Отец Александр Мень зачем-то забрал у меня машинописный экземпляр романа.

Он и Сонечка Рукова — прихожанка нашего храма — опекали меня как могли. Не давали впасть в отчаяние.

— Ваше дело — писать! — не уставал говорить отец Александр. — Завтрашний день сам о себе позаботится.

Однажды он попросил у меня накопившиеся стихи. Я дал большую пачку. С трепетом ждал — что он скажет?

Примерно через неделю он приехал ко мне, сказал неожиданное: «Это очень мужские стихи. Ничего подобного сейчас никто не пишет».

К тому времени, кроме отца Александра и таких людей, как Сонечка, у меня никого не осталось. Отец Александр так щедро одарил меня своей дружбой, доверием! Казалось, этому счастью не будет конца...



Признаться, до сих пор не могу окончательно понять, почему излечиваются мои больные. Нервничаю. Заставляю исцелившихся пройти окончательную проверку в клиниках. Не хочу прослыть шарлатаном.

Как-то удалось вернуть слух оглохшему болгарскому мальчику. После этого случая родители подобных детей затребовали меня в Болгарию. Отец Александр благословил поехать.

Возили меня из Софии в Пловдив, в другие города. Потом на море — к турецкой границе. Оттуда снова в Софию, где у меня произошла встреча с ближайшей подругой знаменитой Ванги — тоже ясновидящей, бывшей партизанкой. Она многое рассказала о моём будущем. Всё-таки удивительно, потом почти всё сбылось в точности! И не вообще, а буквально. К концу пребывания в Болгарии я оказался в 70 километрах от Софии — в городке Самокове в гостях у своего давнего друга художника Христо Нейкова.

...Там есть маленький женский монастырь. Чудесный. Монахини с сестринской любовью приняли меня. Угощали, надарили подарков. Ая рассказывал им об отце Александре.

На прощанье сфотографировались.



Всё лучшее, что было в мире, исчезло. Навсегда.

С убийством отца Александра 9 сентября 1990 года время сломалось.

Что мне было теперь до того, что отец Александр, оказывается, переслал рукопись моего романа «Здесь и теперь» в Лондон и мне там присудили первую премию на каком-то конкурсе?

Я остался сиротой.

...Он был на пять лет моложе меня.



Чтобы хоть как-то спастись от горя, от сиротства, записывал по горячим следам воспоминания об отце Александре.

Тем временем стали названивать, преимущественно по ночам, обещая отправить на тот свет за моим духовным отцом. Я долго терпел.

Осенью 1992 года приятель сказал: «Это плохо кончится. Тебе нужно хоть на время уехать». Он взял на себя все хлопоты.

…В конце ноября я вылетел в Грецию, где у него был совместный морской бизнес с фрахтовщиком из Пирея — Йоргасом.

Йоргас оказался фантастически добрым человеком. Он дал мне денег, вручил ключи от своего старинного дома на каком-то острове, затерянном в Эгейском море.

Меня посадили в самолётик местных авиалиний, и через час полёта я высадился на острове Скиатос.

Без языка. Без единого знакомого человека. В двухэтажном каменном неотапливаемом доме.

Наступила греческая зима. По ночам было холодно. В тёмной комнате на первом этаже я ночевал, завернувшись поверх одеяла в ковёр. Утром поднимался по наружной лестнице на второй этаж, где в светлой комнате можно было работать.

В течение той зимы написал «Все детали этого путешествия», большую часть романа «Скрижали», множество стихов.



Немногочисленное население острова несомненно обратило внимание на меня — единственного чужеземца. В местной церкви, на улочках кивали, здоровались. И это лишь подчеркивало моё одиночество.

В ночь на новый, 1993 год я сидел один в верхней комнате перед бокалом вина, когда без десяти двенадцать услышал чьи-то шаги по наружной лестнице. Кто-то робко постучал.

Я отпер дверь. И увидел забрызганную дождём пожилую женщину с накрытой фольгой тарелкой в руках. Под фольгой оказались греческие пирожки с корицей и орехами. Ещё горячие. Из чего следовало, что она живёт где-то по соседству.

Ни за что не хотела переступить порог. Из ответов на расспросы смог разобрать, что её зовут Мария, что она действительно живёт где-то рядом и поздравляет с Новым годом.

Так у меня на острове появился первый знакомый человек.



Умение ловить рыбу очень мне пригодилось.

По утрам на закидушку ловил с пустого пирса незнакомых средиземноморских рыб, что давало существенную экономию средств.

Со временем хозяин находящегося на набережной бара «Неос космос», с грохотом открыв стеклянную дверь, стал призывать меня выпить с ним стопку виски.

Кажется, от него я узнал, что на острове есть некто Никос — зубной врач, знающий русский язык.

Через несколько дней этот Никос пришел ко мне. Русский язык знал он через пень колоду, но всё равно было счастьем говорить с ним на родном языке.

Никос оказался в высшей степени сердечным парнем. Немедленно притащил два электрических обогревателя — для нижней и верхней комнаты, по вечерам забирал в гости в свою семью, перезнакомил чуть не со всеми обитателями острова.

Наша дружба жива до сих пор.



Наступила ранняя греческая весна. Пора было возвращаться домой, в Москву.

На корабле доплыл до одного из ближайших портов материка, где меня встретил Йоргас. Первым делом я отдал ему ключи от дома. И мы поехали на машине в Афины.

Богач Йоргас поселил меня в отеле «Президент», где я прожил несколько недель, знакомясь с греческой столицей, её музеями. Совершил путешествие на Парнас, побывал на южных островах. И всё думал об уникальном опыте своей жизни последних месяцев, как бы оглядывался на людей, покинутых на Скиатосе. Этот опыт взывал к воплошению.

Чем я и занялся, прибыв в Москву.

Результат — роман «Патрида», прибавившийся к другим неопубликованным моим романам. Хотя, впрочем, за год до поездки в Грецию издательство «Советский писатель» всё-таки выпустило «Здесь и теперь» пятнадцатитысячным тиражом.



1993-й был годом бурных политических событий. Особенно в Москве. И я никак не мог предположить, что именно в это время кипения митингов-демонстраций в один воистину прекрасный день ко мне нежданно-негаданно явятся два человека — муж и жена, Миша и Люба, с предложением издать все мои ещё не опубликованные произведения! Пятидесятитысячным тиражом каждое.

Ещё не веря в осуществимость этой затеи, я, конечно же, согласился.

И очень быстро книги были изданы. Мало того, вдогонку я собрал томик стихотворений — «Невидимая сторона».

Сам видел, как работницы отдела распространения день и ночь паковали пачки моих книг, чтобы рассылать их по заказам читателей.

И началось! Со всей страны полетели ко мне письма. Чудеса этим не закончились.

В сентябре того же года с группой православных верующих я ехал через всю Европу во Францию — в знаменитую католическую общину Тезе. По пути побывал в польском Вроцлаве, в Нюрнберге.

На вторые сутки пребывания в Тезе я сбежал —купил билет на поезд и к вечеру вышел на Лионском вокзале в Париже.

Остановившись у знакомых эмигрантов, прошлялся неделю в этом действительно прекрасном городе. А потом несколько дней был гостем настоятеля монастыря в парижском пригороде — Медоне, ждал прибытия автобуса со своими попутчиками.

То, что я увидел и пережил во время этой поездки, в дальнейшем стало материалом повести «Про тебя».



Одно за другим продолжали происходить чудеса. Мои больные исцелялись. Читатели искали мои книги. Исчезло чувство одиночества, угнетавшее меня всю жизнь

Я мог бы считать себя счастливым, если б не кровоточащая, незаживающая рана: мир для меня опустел после убийства отца Александра Меня.

Всерьёз подозреваю, это он с того света продолжает молить за меня перед Христом. Ещё одно ошеломляющее доказательство тому — появление в моей жизни Марины.

Оказалось, её фамилия — Мень! Она на 31 год моложе меня. Умница. Ни на кого не похожа.

Неисповедимым путём оказываемся вместе в Италии, совершаем большое путешествие по стране.

Потом венчаемся в батюшкиной церкви в Новой деревне.



Дон Донато Лионетти — настоятель католического храма в приморском южноитальянском городке Барлетта — часто бывал в Москве, знал русский язык. Он был знаком с Мариной. Она познакомила его со мной.

Мы подружились. Некоторое время дон Донато жил у меня, с восторгом читал книги отца Александра.

Пригласил нас с Мариной к себе. Устроил нам целый тур чуть не по всей Италии. Его друзья передавали нас с рук на руки. Неаполь, Рим, Венеция, Флоренция — вот лишь часть мест, где нам повезло пожить в семьях гостеприимных итальянцев.

А потом, когда вернулись в Барлетту, нам было подарено море.

...Однажды утром, плавая на спине, я увидел в небе то, что принято называть НЛО.



Огромная голова священника склонилась над ней, как земной шар.

Не плакала во время крещения.

Мы назвали дочь Никой. Она родилась 1 февраля 1997 года. И я вдруг осознал, что мне уже шестьдесят семь лет... Неужели это я — мальчик Володя — должен считаться теперь стариком?

Так хотелось дожить, увидеть, как наша девочка встанет на ножки, начнёт ходить, бегать. Пойдёт в школу.

Я знал, шансов у меня мало.



Свалившиеся с неба издатели практически не заплатили мне денег.

Выпустив книги, растворились в небытии. Таков стиль теперешнего лихого времени.

Однако телефонные звонки, электронные и обычные письма продолжают и продолжают поступать. То этот прилив читательского внимания нарастает, поднимая меня, то начинает спадать.

А я продолжаю работать.

Критика не заметила моих книг. Я, что называется, нераскрученный автор. И слава Богу! Есть особая, тайная радость в том, чтобы творить в безвестности.

Но когда очередное произведение окончено, начинаешь мучительно думать о том, как его выпустить в свет. И тут ниоткуда появляется очередной читатель с деньгами на издание книги.

Так в последние годы, договорившись с типографией, я сам издал свои книги — «Навстречу Нике», «Словарь для Ники», «Карта реки времени». Поневоле познаю счастье независимости от редакторов и цензоров, чуждых мне вкусов.

Очень поддерживают друзья. Особенно дорожу дружбой с братом покойного отца Александра — Павлом Менем.



Сперва самолётом. Потом поездом, и не куда-нибудь, а на юг Италии. С мамой и папой к дону Донато.

В три с половиной года всё впервые. Самолёт, поезд. Море за окном вагона.

Поневоле смотрел на мир глазами моей Ники.

Донато открыл нам Италию. Благодаря ему пять или шесть раз приезжал я в Барлетту. Вдосталь плавал, много работал, путешествовал.

«Папа, смотри, чтобы тебя не съела акула», —тревожилась Ника.



Дорогой читатель! Я старался не писать в этой книге о катаклизмах, потрясших страну, о политике, суровых буднях, когда порой нечем заплатить за квартиру. Ты и сам всё это пережил.

...Акула меня не съела. Болезни пока что не отправили на тот свет.

Спасибо судьбе за всё.

Маленький документальный фотофильм на бумаге, каким является эта книга, кончился неожиданно. Для автора. Как неожиданно зачастую кончается жизнь.

Но так у меня происходит с каждой новой книгой.





«В БАНАНОВО— ЛИМОННОМ СИНГАПУРЕ…»

ПОВЕСТЬ

ПРОЛОГ

Солнце поднялось из-за вулканов Камчатки, поплыло над огромным пространством бывшей империи. Озарило Курильские острова, Владивосток, Сибирь, страны Центральной Азии... Показалось оно над грузинским селом, протянувшимся вдоль подножья горного хребта.

По его улице шел человек с большой брезентовой сумкой через плечо. Несмотря на то что сумка была очень тяжелая, он обогнал вихрастого подростка, который гнал на пастбище несколько барашков и корову, поздоровался с ним.

Впереди с грохотом мчалась река Техури, захлестывая деревянный настил моста.

Человек ступил на мост, почувствовал сквозь подошвы сапог, как от напора воды подрагивают мокрые доски настила. Глянул в чистое, голубое небо и подумал о том, что если там, в сванских горах, ливни продлятся еще деньдругой — мост может смыть. Как бывало уже не раз.

Бешеный водоворот мчал оттуда, сверху, взблескивающее на солнце бревно, то выскакивающее наружу, то скрывающееся в пенистом потоке.

За мостом одиноко стояло каменное строение на высоком фундаменте — бывшая база археологов. Теперь здесь находилась продовольственная лавка, где продавалось все от хлеба и сахара до «чупа-чупса» и шоколадок «сникерс». Лавочник — толстяк Вано сгружал с шофером у задних дверей с крытого грузовичка деревянные ящики.

- Эй, Алеша! крикнул он. Иди почини мне сигнализацию!
- Потом, отозвался человек, приостанавливаясь и перекидывая ремень своей тяжелой сумки на другое плечо.

У наружных дверей еще запертой лавки в ожидании стояло несколько покупательниц.

— Алеша! — крикнула одна из них. — Скажи Тамрико — макароны привезли!

«Макароны... на что она купит макароны?» — подумал человек, походя к торчащему из земли остатку античной колонны, означающему ныне автобусную остановку.

Все его здесь звали просто по имени — Алексей, хотя ему было уже шестьдесят два года.

«На что она купит макарон? — с горечью думал он, в одиночестве стоя на остановке. — Вано в долг больше не даст. Давиду в Тбилиси давно пора послать денег. Хоть немного. Скоро сентябрь, школа. Нино и Мзия выросли, нужно покупать портфели, учебники для первого класса.

Сумка оттягивала плечо. Он снял ее, аккуратно приставил к основанию колонны.

Ждал автобус, думал о внучках, о младшем сыне Давиде, который жил у тетки в Тбилиси, готовился поступать в художественное училище. О другом —старшем Зурике. Зурик уже два года как уехал в Россию, работал шофером такси где-то в Саратове. Изредка присылал деньги. Тамрико осо-

бенно беспокоилась о нем, оставившем здесь жену и двух девочек...

К ровному гулу мчащейся с гор реки прибавился новый звук. Дребезжащий, скошенный на сторону автобус, обогнув изломанный отрог скалы, показался на дороге.

Человек воздел на плечо сумку, поднялся в остановившийся автобус, купил у водителя билет и сел на одно из свободных мест рядом с худым стариком в сванской шапочке.

- Здравствуй, Джансуг, сказал он старику. Что у вас там, небеса протекли?
- Протекли, согласился тот, потолок в кухне протек. Залило твой буфет, дай тебе бог здоровья!

Они поговорили о резном буфете, который лет двадцать тому назад Алексей за зиму смастерил из каштанового дерева для семьи этого старика — сельского учителя.

В ту пору и горы, где сейчас шли дожди, и спускающаяся к морю речная долина, по которой ехал автобус, все было природным заповедником подначалом Алексея — кандидата биологических наук. Он берег жизнь многочисленных животных, растений, водившейся в реке форели, охранял развалины древнегреческих дворцов.

Со всего СССР и даже из-за границы приезжали сюда ученые, журналисты. И даже писатели. С одним из них он подружился. Бывая в командировках в Москве, не раз останавливался у него. Очень давно это было. Какое-то время переписывались, перезванивались, потом во время перестройки и это оборвалось. Там в Москве у писателя были

свои дела, своя жизнь, наверняка тоже нелегкая, и он, видимо, позабыл о Давиде, которого полюбил, присылал ему коробки с акварельными красками, забыл о том, как учился у Тамрико готовить настоящее лобио, все вместе собирали в осеннем лесу каштаны.

И еще приезжал из Таджикистана Ахмед — ихтиолог, а с Дальнего Востока — охотоведНиколай Иванович и откуда-то с Украины, из Карпат, — длинноусый Дмитро — специалист по буковым лесам.

Что со всеми ними сталось? Куда делись? Поумирали вместе с так быстро умершей страной?

Не часто доводилось теперь ездить Алексею в районный центр. Раньше ездил по нескольку раз в месяц на бесконечные совещания. Однажды даже слетал за границу на симпозиум в ГДР, в Берлин.

В одночасье все рухнуло, стало никому не нужным. Перестали приезжать археологи из Тбилиси, егерям нечем стало платить зарплату. Какие-то абреки наведываются в леса, перестреляли из автоматов косуль, сожгли центральную усадьбу лесничества. Этот самый бывший учитель Джансуг, который сейчас дремал рядом, после закрытия школы занялся пчеловодством. А вот ему, Алексею, до последнего времени ничего не оставалось, кроме как поддерживать существование семьи случайными заработками в селе. Чинил старинные примусы, стенные часы-ходики да разрушенную зимними ветрами кровлю на домах.

Автобус приостанавливался, собирал по пути немногочисленных пассажиров.

Джансуг извлек из-под сиденья бидон с медом, попрощался и сошел на остановке, которая до сих пор называлась «Колхозный базар».

Было начало десятого, когда Алексей со своей сумкой возник на центральной улице по-своему знаменитого грузинского города.

Издавна этот город считался столицей мафии. Со времен Сталина тут предпочитали обосновываться воры в законе, бывшие подпольные цеховики, а также главари вооруженных налетчиков, нападающих на банки и ювелирные магазины.

Обладая миллионами долларов, воздвигали в этом тихом, провинциальном городке двух- и трехэтажные особняки за высокими заборами.

Теперь все они называли себя бизнесменами, отсылали детей, внуков учиться кого в Москву, кого в Турцию, кого в Англию. А сами в свободное время играли друг с другом в бильярд, в карты или нарды. Иногда вспыхивала междоусобица, и тогда через город к кладбищу тянулась пышная процессия.

Насквозь коррумпированная городская администрация знала обо всем. Знали остальные жители города и окрестностей. Знал и Алексей.

Недавно один из бывших работников мэрии, а ныне владелец новой фирмы некто Гаручава приезжал на джипе в село половить форель. За ужином предложил Алексею работу. Оказалось, в город пришла мобильная связь. В разных зданиях — на крышах, чердаках и других укромных местах — были установлены будки-подстанции. Началась бойкая продажа мобильных телефонных аппаратов.

Гаручава предложил Алексею постоянную работу по обслуживанию подстанций, посулил месячную зарплату в семьсот долларов. Но сначала в качестве испытательного срока Алексей должен был сбить с них массивные навесные замки, от которых прежний растяпа оператор потерял связку ключей вместе с дубликатами, и поставить новые, очень дорогие и надежные, закупленные в Швеции.

В тот раз Гаручава ни одной форели не поймал, но купил у местного браконьера трех рыбин и днем повез Алексея на своем джипе в город.

Там Алексей получил на фирме восемь тяжеленных шведских замков и список адресов тех зданий, где находились подстанции. В тот день ему с трудом удалось сменить только два замка. И вот теперь он с утра пораньше приехал заменять остальные. К прочим инструментам пришлось взять и пилу — «болгарку», чтобы можно было пилить по металлу.

Пренебрегать свалившейся с неба работой не приходилось. Зарплату Гаручава посулил громадную для этих мест. Хватило бы наконец и Давиду выслать денег в Тбилиси, и внучек с честью снарядить в первый класс. Купить Тамрико теплую кофту, пальто и обувку к зиме. Ходит в обносках, купленных еще при советской власти.

То ли от тяжести сумки, которая вместе со всеми замками и инструментами весила килограммов тридцать, то ли от всегда возникающего у него в этом городе чувства одиночества он сейчас казался себе стариком, неудачником.

Шел к уже виднеющемуся в конце улицы самому высокому в городе семиэтажному зданию, построенному чуть ли не

до революции 1917 года. Где-то там, на чердаке, была одна из подстанций.

Справа и слева с грохотом открывались металлические ворота в заборах, выезжали боссы со своими телохранителями.

Алексею вспомнился местный анекдот, рассказанный ему Гаручавой:

«Одному мафиози не удалось откупиться взятками за очередное мокрое дело. Его приехал арестовать сам начальник милиции с отрядом спецназа.

Тот вышел из своего особняка, остановился на верхней ступеньке крыльца.

- В чем дело?
- Спускайся! Ты арестован, приказал начальник милиции.
 - За что?!
 - За то, что награбил миллионы, убивая людей.
- Я?! Да я зарабатываю деньги на спор, показываю фокусы.
- Какие еще фокусы? спросил простодушный начальник милиции.
 - Могу укусить свой левый глаз. Веришь?
 - Не верю.
 - Спорим на сто долларов?
 - Давай.

Мафиози вынул изо рта вставные челюсти и укусил ими свой левый глаз.

Милиционер протянул ему сто долларов.

- Спускайся.
- Погоди. А веришь, что я могу съесть свой правый глаз?
- Не морочь мне голову. Этого уже не может быть ни-когда.
 - Может. Спорим на пятьсот долларов?

Милиционер согласился, уверенный в том, что сейчас заработает пятьсот долларов.

Мафиози вынул из правой глазницы искусственный глаз и положил его в рот.

Милиционер отдал пятьсот долларов, заорал:

- Сейчас же спускайся!
- Погоди. А знаешь ли ты, с кем имеешь дело? Когда я писаю, у меня идет не моча, а французские духи «Шанель №5». Можешь понюхать, спорим на 1000 долларов?

Мафиози расстегнул ширинку и пописал сверху на милиционера.

- Ну вот ты и проиграл! Вонючая твоя моча! закричал милиционер. Давай деньги!
- Нет, выиграл, заявил мафиози. Потому что поспорил с моим соседом на десять тысяч долларов, что в присутствии спецназа обоссу начальника милиции!»

...Алексей подошел к высокому зданию, обвешанному по сторонам подъезда нагло золочеными вывесками. За зер-кальной дверью маячила фигура охранника.

Здоровенный, коротко стриженный амбал с пистолетом у пояса нехотя впустил Алексея, выслушал его объяснения, проверил содержимое сумки. Вместе с ним поднялся на седь-

мой этаж, своим ключом отпер дверцу коридора, ведущего к входу в чердачное помещение. Охранник шел впереди. Груженный сумкой Алексей тяжело ступал за ним в полутьме.

«Хорошо бы в конце дня попросить хотя бы аванс, — подумал он. — Смог бы до автобуса, до возвращения домой послать Давиду в Тби...»

Внезапно пространство с треском взорвалось вокруг него. Алексей успел осознать, что рушится в какую-то бездну, и всем телом ощутил страшный удар снизу.

1

Наверное, с точки зрения стороннего наблюдателя все у меня выглядело хорошо. Даже очень.

В конце августа я с женой и девятилетней дочкой должен был по приглашению знакомых улететь на отдых в Италию. Визы получены, авиабилеты, загранпаспорта — все в готовности стопкой лежало на столе. Пора было укладывать чемоданы.

Лето в Москве кончалось. Холодный дождь за окном сиротливо перебирал листву тополей, кое-где желтеющую, то ли пережаренную зноем июля, то ли уже тронутую осенью.

На редкость удачно все складывалось. Только что вышла в свет моя новая книга. Правда, крохотным, тысячным тиражом, правда, как и за предыдущие книги, я не получил за нее ни рубля.

Тем, кто уже успел ее прочитать, она нравилась. Люди начали искать ее по магазинам, в интернете.

Больше года я работал над ней. Предстоящая поездка казалась заслуженной наградой.

Но радости странным образом не было. Может быть, оттого, что люди, которым я в первую очередь хотел бы подарить эту книгу, в большинстве своем умерли. Или давно куда-то исчезли. Наверное, забыли обо мне. Словно не было братской дружбы. Многолетнего участия в жизни друг друга.

А может быть, все дело в возрасте. Когда тебе идет восьмой десяток, поневоле теряешь способность радоваться, становишься занудой. Хотя до сих пор никто не дает мне моих лет. Недавно один чудак, видимо желая сделать приятное, сказал, что я выгляжу лет на сорок пять...

Нет, не в возрасте дело! Просто уже довольно давно многие теперешние люди напоминают мне компасы без стрелок. Север, магнитный полюс никуда не делся. Но жители страны потеряли ориентацию...

В то утро жена последний раз перед отъездом пошла на работу. Я накормил дочь завтраком и принялся было складывать в папку кое-какие записи, чтобы обдумать на досуге один полузабытый замысел.

Я стоял у стола, бегло проглядывал наброски в ветхих тетрадях, исписанные листики блокнотов. Пытался понять, отчего много лет назад остановилась работа.

 Папа! Телефон звонит, неужели не слышишь? крикнула из другой комнаты дочь. Оторванный от дела, я с досадой снял трубку.

- Здравствуйте! Это Лидия Ивановна! услышал я голос экзальтированной прихожанки из нашей церкви. Хочу вас обрадовать! Оказывается, когда мы умрем, нас на том свете встретят наши коты и собачки!
 - Мерси! сказал я и повесил трубку.

Пора. Пора было уезжать от этой безумной жизни.

Только начал укладывать в папку свои бумаги, как телефон зазвонил снова.

- Володя, здравствуйте. Вы это?
- Я это.
- Ох, Володя, чудом нашла через Нодара новый номер вашего телефона. Помните Нодара —археолога?
 - Конечно! А с кем я говорю?
- Тамара. Помните речку Техури, моего мужа Алексея, нашего сына Давида?
- Господи! Тамрико! Какое счастье, что вы нашлись! Я вам писал, столько раз пытался дозвониться в контору заповедника. Давид уже большой? Стал художником?
 - Володя! Алеша разбился.

Я опустился на стул. Кровь бросилась в голову.

- Погиб?
- В двух местах разбит позвоночник. Спиной мозг поврежден. Отнимаются руки, ноги, она зарыдала. Сломаны ребра, перелом плеча...
 - Чем помочь? Нужны лекарства?
- Нет, Володя... Не знаю, как и сказать, к кому еще обратиться...

— Так, что нужно делать? Говорите!

И вот сквозь ее плач я услышал о том, как Алексей во время работы провалился сквозь гнилой пол какого-то здания, пролетел этаж, как какой-то охранник вызвал «скорую», как Алексея удалось перевезти в тбилисскую больницу, в отделение нейрохирургии.

Слушал ее, не мог себе представить этого надежнейшего человека, мастера на все руки, обездвиженным инвалидом.

- Володя, ни Гаручава, который послал его на эту работу, никто не хочет помочь. А врачи говорят, нужна срочная операция. Если вставят какой-то испанский имплантат, чтобы скрепить позвоночник, дней через десять сможет вставать.
 - Чудесно!
- Володя! Имплантат с операцией стоят пять тысяч долларов!..
 - Понял.
 - Это какая-то пластина из титана.
 - У врачей она есть?
 - Есть. Только нужно пять тысяч долларов.
 - Понял, Тамрико, понял. Ты откуда звонишь?
- Из Тбилиси. Остановилась у сестры, где Давид живет. Ни у кого таких денег нет, или не хотят давать. Вспомнила о вас...
- Молодец! Диктуй адрес. Послезавтра я должен уехать. За день-два постараюсь достать. Вышлю через банк. Позвони мне завтра вечером.

- Бога за вас будем молить.
- Алеша в сознании? Передайте ему привет.
- Да! Адрес! Диктуй фамилию, имя, отчество.

2

Ведь знаю, что нельзя давать невыполнимых обещаний. И вот попался. А что делать? Что делал бы на моем месте любой другой человек?

Для меня было честью, что в далеком селе, давно вместе с Грузией отрезанном от России лезвием границы, обо мне вспомнили как о последней надежде.

В некотором замешательстве я закурил сигарету. Взял со стола записную книжку. Мелькали фамилии, адреса и телефонные номера. Заранее было ясно, что нет у меня таких богачей, которые могли бы дать или занять пять тысяч долларов для спасения человека, тем более незнакомого. Даже кликнуть клич, чтобы срочно объединить усилия, сложиться, я не мог.

Не нашлось никого, кому стоило бы отважиться позвонить. Хотя бы посоветоваться. В растерянности отыскал в глубинах секретера другую записную книжку, старую, за прошлые годы. Половина адресов там была вычеркнута. Люди или умерли, или уехали...

Среди невычеркнутых мелькнула фамилия —Немировский. Это был давний соученик по школе. С юности изворотливый малый, ставший любителем антиквариа-

та. Несколько раз, всегда неожиданно, возникал в моей жизни. Последний раз уже взрослым, солидным человеком в годы, когда из продажи исчезли самые необходимые вещи, добыл для меня упаковку прекрасной финской бумаги.

Вспомнил, как, приехав к нему домой, я увидел на стенах квартиры подлинники картин Айвазовского, Шишкина, старинные иконы.

Трудно понять, чем я еще со школьных времен привлекал к себе внимание Немировского. Он изредка мне названивал, поздравлял с Новым годом. Иногда появлялся то с баночкой красной икры и шампанским, то с блоком сигарет для меня и коробкой шоколадного ассорти для жены. Я чувствовал — зачем-то ему нужен. Так сказать, про запас.

Всегда он был состоятелен. Хотя сегодня вряд ли захотел бы помочь спасти Алешу от инвалидства. Никому, кроме родных, неизвестный Алеша был не нужен.

Время шло. Практически у меня оставались лишь сутки до отъезда.

В отчаянии обвел глазами комнату. И сразу споткнулся взглядом о большую, старинную тарелку, висящую на стене у изголовья моей тахты. На ней синей краской был изображен зимний пейзаж. С мельницей, замерзающим озером, лодкой на его берегу, идущим вдоль берега человеком с трубкой, сидящим на снегу псом.

Она сопутствовала мне с детства. Наверняка дорогая, безусловно, антикварная вещь. Под тарелкой в круглой, старинной рамке висело мое собственное фотоизображение 1933 года — трехлетний мальчик в матроске.

Я подошел к тарелке вплотную и впервые в жизни разглядел выведенную латинскими буквами фамилию художника — Аттейве. Это была подписная работа! Семнадцатого или восемнадцатого века! Сколько она могла сейчас стоить? Во всяком случае, наверное, несколько тысяч долларов.

Вовсе не уверенный в том, что Немировский живздоров, не уехал, не сменил квартиру, я набрал номер его телефона.

Он был на месте. Удивительно, не успел я назваться, он узнал меня по голосу. Как ни в чем не бывало спросил — не нужна ли мне бумага?

Упоминание о бумаге было как бы воскрешением наших отношений

Ободренный этим, я сообщил, что должен срочно продать старинную вещь, но не знаю, как это сделать. Немировский оживился, предложил сразу приехать к нему домой. Я записал позабытый адрес.

Снял со стены тяжелую тарелку. Влажной тряпкой обтер с нее пыль, кое-как завернул в газеты, обвязал крест-накрест бечевкой. Принес из кухни целлофановые пакеты. Ни в один из них она не влезла, будучи диаметром не меньше полуметра.

Спасла положение дочь Ника. Она вытряхнула из большой пластиковой сумки свои старые игрушки.

Я поцеловал ее, пообещал скоро вернуться. И ринулся из дома к метро.

Только вошел в верхний вестибюль, как меня остановил милиционер.

- Покажите, что в сумке.
- Мина, сказал я, давая ему возможность заглянуть внутрь.
 - Распакуйте!
- Да это тарелка, сказал я. Настенная тарелка. Как я ее буду здесь распаковывать? Еще грохнется, разобъется.
 - Ладно, кивнул он, Проходите.

...Немировский жил в одном из переулков между «Маяковской» и «Белорусской». За давностью лет я позабыл, откуда ближе дойти. Доехал до площади Маяковского.

Асфальт площади, памятник поэту — все было влажным от только что закончившегося дождя.

Я шел со своей сумкой мимо памятника, обрамленного понизу прибитыми цветочками с каплями воды на листьях. Вспомнил, как однажды часов в шесть весеннего утра увидел вылетевшую со стороны Садового кольца вопреки всем правилам движения автомашину. Милиционер с жезлом кинулся к ней, отдал честь. Машина круто развернулась на улицу Горького, чтобы помчаться в сторону Кремля, и в этот момент я успел увидеть за рулем Брежнева.

Любит кататься! Без охраны! — крикнул мне в порыве верноподданнического восторга милиционер.

Это было в семидесятые годы. Тогда очень близкие мне люди, муж и жена, правозащитники, находились в тюрьмах. Он — на Лубянке, она — в Лефортово. А у меня дома были спрятаны папки с кое-какими их материалами.

Теперь не было на свете ни Брежнева, ни этих моих друзей.

В доме Немировского на двери лифта висело от руки написанное объявление — «Лифт не работает». И я со своей ношей стал восходить на восьмой этаж.

«Сколько за нее просить? Стоит ли тарелка пять тысяч долларов? Да еще какие-то деньги потребуются, чтобы заплатить банку за перевод, — я постоял с колотящимся сердцем на площадке пятого этажа, чтобы перевести дыхание. — А если она не стоит и ста долларов?»

Одолевая последние три этажа, я думал о нереальности всей этой затеи.

За годы, что мы не виделись, Немировский при его высоком росте ссутулился, отпустил седую бородку. Облаченный в какой-то сибаритский халат с витыми шнурками, он встретил меня в высшей степени радушно. Ввел в сияющую евроремонтом квартиру, усадил за накрытый в гостиной стол, пригласил присоединиться к завтраку.

- Поздно завтракаешь, сказал я. Уже без четверти одиннадцать.
 - Ложусь во втором часу ночи.
 - Зачем?

— Втянулся смотреть спутниковое телевидение. Выпей хотя бы кофе, — сказал он, не спуская глаз с моей сумки. — Вынимай, что там приволок?

Пока в стоящей на столе машинке он готовил для меня кофе эспрессо, я вытащил свой товар и стал развязывать бечевку.

 Погоди. — Немировский поставил передо мной чашечку с кофе, схватил со стола нож, разрезал бечевку, скинул газетную обертку.

Я пил очень вкусный и крепкий кофе, наблюдал, как он пристально рассматривает тарелку. Сначала с изнанки. Потом с лицевой стороны.

— Что ж... Аукционная вещь. Сколько за нее хочешь?

Стесняясь назвать цену, я сначала счел должным рассказать о случившемся с Алешей несчастье. О пластине из титана. И наконец, назвал цену.

- Понятно. Сам погибай, а товарища выручай.
- Зачем же «погибай»?

Если бы я знал, как он окажется прав!

- Пять тысяч долларов... задумался Немировский. Эта керамика может стоить гораздо меньше. И гораздо больше. Я по этим вещам не специалист. По-хорошему надо бы выставить на аукцион. Аукционы бывают не каждый день. Неделю-другую придется потерпеть.
- Не годится. Деньги нужны сегодня. В худшем случае завтра. А послезавтра, я уезжаю.
- Ладно. Так и быть, сегодня отнесу ее к знакомому эксперту. Он хотя бы приблизительно оценит. По ка-

талогу. К вечеру созвонимся. Если тарелка стоит пять тысяч — сам куплю. Недавно продал одного из своих Айвазовских олигарху. За миллион долларов. Сам понимаешь, не бедствую. Тут же отдам наличными.

«А если тарелка стоит дороже? — подумал я. —И потом, почему он не приглашает вместе поехать к эксперту?»

И тут же поразился собственной подозрительности.

- Спасибо тебе. Я поднялся из-за стола. Вытащил из пачки сигарету.
- У меня не курят, строго сказал Немировский, провожая в переднюю.

...Вечером, придя с работы, моя Марина обратила внимание на отсутствие тарелки. Я рассказал ей об утреннем звонке Тамрико, о своем посещении Немировского.

- Кто он? Чем занимается? Когда вы виделись в последний раз?
 - Лет двадцать тому назад.
 - Ты хотя бы взял у него расписку?
 - Нет. Да он вот-вот должен позвонить.

Именно в эту минуту раздался телефонный звонок. Но это звонил не Немировский, а Тамрико. Звонила вроде бы только для того, чтобы передать мне привет от Алеши и продиктовать адрес банка. Но незаданный вопрос как бы завис между Тбилиси и Москвой. Я был их единственной и последней надеждой.

Потерпи, Тамрико. Сейчас должно выясниться.
 Не волнуйся!

Я прождал до начала первого. Немировский так и не позвонил.

Ночь промаялся без сна.

«В самом деле, кто его знает этого Немировского с его миллионом долларов, — думал я. — Мог соблазниться тарелкой... Действительно, почему не предложил пойти с ним вместе к оценщику? Не позвонил, как обещал. Почему я сам ему не позвонил?»

Еле дождавшись девяти утра, я счел приличным набрать номер телефона Немировского.

- Разве я тебе не говорил, что ложусь поздно? сказал он, зевая. Не смог вчера позвонить оттого, что ты ухитрился не оставить мне номер твоего телефона.
 - Так вот в чем дело... Оценил тарелку?
- Знаешь что? Приезжай ко мне часов в двенадцать, не раньше.
 - Как все-таки дела?

Он ничего не ответил. Положил трубку. Пошел досыпать.

Я был настолько издрызган бессонной ночью, раздражен неопределенностью этой истории, что не смог принять участие в предотъездной укладке вещей.

— На тебе лица нет, — сказала жена. — Поспи хоть немножко. Завтра во второй половине дня уже сможешь плыть в море. В аэропорту нас встретят, отвезут на машине в дом, который стоит у самого пляжа среди черешневых деревьев. Есть терраса, где ты сможешь работать. Правда, чудо?

К двенадцати часам я был у подъезда дома Немировского. Для приличия покурил снаружи несколько минут, вошел и начал свое восхождение. С трудом одолевал крутые ступени лестницы. Все же в этот раз одолел все восемь этажей без пауз. Задыхаясь, позвонил в дверь.

- Кофе пить будешь? спросил Немировский, встретив меня в передней с чашкой в руке.
 - Спасибо, нет.
 - И правильно! Сейчас накину пиджак и поедем.
 - Куда?
- В банк. Наличных почти не держу. Придется снять со счета.

Он пошел за пиджаком, и через открытую дверь гостиной я увидел висящую на стене свою тарелку.

- ...Когда спускались по лестнице, все-таки спросил:
- Так это ты покупаешь?
- Я, признался Немировский. Аукцион состоится только через месяц, в сентябре. Получится дороже — мой навар, дешевле — мой риск.

Я обождал у подъезда, пока он вывел со двора свой джип, с очень высокой подножкой.

Минут через десять мы были у банка. Немировский почему-то не захотел, чтобы я вышел с ним из машины.

Посиди здесь. Куда надо перевести деньги? Давай адрес.

Такого оборота дела я не ожидал. Отдал ему бумажку, где были записаны данные, продиктованные Тамрико.

Стоял по-летнему душный день.

Чтобы не накурить в машине, я вышел наружу. Ломило в глазах от пересверка стекол автотранспорта, сверкания витрин.

Операция по спасению Алеши, кажется, удачно завершалась. И теперь хотелось одного — поскорее добраться домой, лечь, закрыть глаза, выспаться. Какая-то непомерная, ниоткуда взявшаяся усталость наваливалась на меня.

Я выкинул окурок, хотел забраться обратно в тенистое лоно машины, но почему-то не мог одолеть высокую подножку.

- Все в порядке, послышался за спиной голос Немировского. — Тороплюсь на Пресню, в Экспоцентр.
 Тебе по дороге?
 - Нет.
 - Тогда извини! он сел в машину. Рванул с места.

«А квитанция за перевод? — спохватился я. —Не отдал мне квитанции... Бог с ней. Лишь бы деньги дошли».

Горячий пот покатился по лбу, заливая глаза. Захватило дыхание. Захотелось на что-нибудь опереться. Но опереться было не на что.

И я повалился на асфальт.

3

— Обширный инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка, — констатировал врач, сняв мне тут же в машине «скорой» кардиограмму сердца.

Я лежал навзничь на каталке с куском марли во рту. Марля была пропитана какой-то гадостью.

В это время молоденькая медсестра куда-то названивала по мобильному телефону, чтобы узнать, в какую больницу меня сбагрить.

- Пожалуйста, отвезите домой, пролепетал я, пытаясь подняться. Завтра уезжаю.
- Не рыпайтесь, дяденька. Вы умираете, она продолжала названивать.

«Неужели это происходит со мной?»— подумал я. Попросил:

— Пожалуйста, позвоните жене.

Хватило сил вспомнить номер ее мобильника. Надеялся, что Марина убедит их не везти меня в больницу.

Медсестра сначала дозвонилась куда-то. Потом позвонила Марине. Сказала:

— Госпитализируем вашего мужа в Боткинскую.

Врач пошел садиться к шоферу. Медсестра села рядом с каталкой. И мы поехали, по центру Москвы.

— Хочу домой, — задыхаясь, время от времени взывал я. — Отвезите домой.

Кем был поднят с асфальта, кто вызвал «скорую» — ничего не помнил. «Неужели это я умираю?» Из полутьмы «скорой» сквозь не закрашенные доверху окна виднелись кружащиеся, оборачивающиеся вслед вершины зданий, освещенные солнцем. И одновременно представлялся мне трехлетний мальчик в матроске. И вот он, оказывается, умирал.

«Скорая» то и дело замирала в автомобильных пробках, и теперь уже хотелось быстрее, пока не поздно, в больницу спастись. Не столько мне, сколько трехлетнему мальчику в матроске. У которого оставались на свете любимые дочь и жена.

Сердце не болело. Только дыхание то срывалось, то становилось частым. Как автомобильный двигатель, когда он толком не заводится и вот-вот замрет окончательно.

«Скорая», казалось, двигалась слишком медленно. Я решил, что должен, пока не поздно, вмешаться, как-то помочь ей. Может быть, дорога каждая секунда. Но что именно должен сделать — никак не мог вспомнить.

«Скорая» резко затормозила. Потом рванула вперед. Мелькнул поднятый шлагбаум. В окнах исчезли верхушки зданий, замелькали кроны деревьев, и я понял, что мы наконец въехали на территорию Боткинской больницы, мчим по полукругу, огибающему парк, установленный больничными корпусами. Когда-то здесь мне вырезали аппендикс, здесь в инфекционном отделении навещал маму, потом в хирургическом — приятеля, сломавшего ногу. Где-то здесь работает Лиля — доктор, с которой меня когда-то познакомил отец Александр Мень.

«Скорая» почему-то опять стояла, не двигалась. Медсестра продолжала как каменная сидеть на месте. Никто меня из машины не вытаскивал.

И тут я вспомнил, что нужно сделать: нужно, пока не поздно, попросить Бога вмешаться, помочь...

«Господи!» — только шепнули мои губы, как медсестра сказала:

 Другие машины загородили подъезд. Уже отъезжают. Больной, не волнуйтесь.

Но прошло еще несколько минут, прежде чем «скорая» подъехала к пологому пандусу у входа, по которому вытащенную из машины каталку вместе со мной повезли...

Сияние солнечного дня сменилось полумраком тускло освещенного электричеством коридора. Резкая смена света на тьму была ошеломляющим переходом в безнадежность, в окончательную утрату права на собственную волю.

Движение замедлилось, остановилось. Врач раскрыл створки каких-то дверей с матовыми стеклами. Медсестра снова толкнула каталку вперед, и тут послышался набегающий топот. Кто-то нагнал, обнял, прижался лицом к лицу.

- Маринка, как ты здесь оказалась? слезы навернулись у меня на глазах.
- Женщина, сейчас же уйдите отсюда! завопила медсестра. Здесь реанимация.
- Не волнуйся. Я тут. Я с тобой, торопилась сказать Марина, утирая ладонью слезы с моей щеки. Вот увидишь, все будет хорошо.
- Сейчас же уйдите! набежали из глубины помещения две пожилые медсестры. Здесь нельзя оставаться!

Они перевалили меня на высокий топчан у стены.

- Раздевайтесь до трусов!
- Подожди, я помогу. Марина пригнулась, чтобы развязать шнурки на моих ботинках.
 - Гражданка, немедленно покиньте помещение!

Увидев, что Марина продолжает помогать раздеваться, одна из медсестер сначала яростно вцепилась в нее, потом кинулась куда-то за помощью. А работники «скорой», кивнув мне на прощанье, удалились со своей каталкой.

- Гражданка, что за безобразие?! заорал на Марину появившийся седой верзила в белом халате. Посторонняя, вон отсюда! Иначе вызову милицию.
 - Я не посторонняя. Я его жена.

Обе медсестры накинулись на Марину, выталкивая ее к выходу.

— Я тут. Я с тобой! — крикнула она.

Двери за ней захлопнулись и были заперты. Но силуэт Марины виднелся за матовым стеклом.

4

Скорее всего, это продолжалось десяток минут. А может быть, вечность. Обо мне позабыли.

На меня накатывали волны озноба. Я стал замерзать. Сидел на топчане, привалившись спиной к стенке. Голый, в одних трусах, чувствовал, что меня трясет так, что вот-вот свалюсь с топчана на кафельный пол.

«Если умираю, зачем же меня оставили одного?» — мелькнуло в сознании.

 Марина! — попытался я крикнуть, позвать на помощь.

Но за матовым стеклом ее силуэта уже не было видно.

Наконец, с грохотом катя каталку, появились обе медсестры. Завалили меня на нее, быстро повезли в другое помещение, тесно установленное приборами, опутанное проводами. И я попал в лапы седого реаниматора и его подручного.

Что со мной делали — не вспомнить. Возможно, вкололи какой-то наркотик.

На миг очнулся. В руки почему-то суют авторучку и бумажку

- Подпишите, настаивал седой реаниматор. Необходимо сделать отверстие прямо в вену, чтобы можно было непосредственно вливать лекарство.
- Не буду! я вырывался из рук, убежденный, что меня заставляют подписывать согласие на собственную смерть.

Но тут передо мной внезапно возник кулак. А за ним лицо. Неожиданное, родное. Лицо доктора Лили, которая работала где-то здесь в Боткинской.

Хватило сознания догадаться, что это Маринка успела найти ее, позвать...

Всунутой в руку авторучкой не глядя что-то подписал, и мне тотчас стали проделывать дырку где-то у правой ключицы. Забытье прервалось. Ялежал навзничь. Мне было худо. Надо мной в полутьме маячил силуэт штатива капельницы.

Закрыл глаза. Почувствовал: снова открыть их не будет сил.

Вспомнил, что перед смертью обязательно нужно успеть помолиться. Не мог сообразить, как это делается. В отчаянии пытался вспомнить хоть какую-нибудь молитву, хоть слово. В этот момент внутренним взором увидел приоткрытую дверь. Понял: там, за ней, находится «тот свет». Дверь как бы приглашала заглянуть туда.

Невесть как оказался у двери, раскрыл ее настежь. Увидел сплошную клубящуюся тьму.

И снова ушел в забытье.

Утро проступило несколькими кроватями с такими же дохлецами, как я. Появлением одной из вчерашних медсестер, бравшей у всех нас кровь на анализы.

Потом возле койки возник мой мучитель — седой реаниматор с фонендоскопом на груди. Он подсел на край, послушал мое сердце.

Как себя чувствуете? — спросил он, улыбаясь. —
 С утра пораньше опять приходила ваша жена. Рвалась к вам.

Я сообразил, что он всю ночь работал где-то тут, рядом, за стеной. Спасал от гибели таких же инфарктников, как я. Пересохшими, колючими губами шепнул:

Спасибо, доктор.

Он подмигнул мне. Уходя, что-то сказал медсестре.

Она принесла пластиковую бутылку с какой-то темной жидкостью, налила в белую кружку — одну из наших домашних кружек с изображением попугая, подала мне.

Там был кисель. Очень вкусный. Черничный, что ли? Что-то непривычное мешало держать кружку и пить. Я провел свободной рукой по груди, обнаружил у правой ключицы нашлепку из ваты и пластыря.

- Кисель вкусный, как в детстве, поделился я с вновь появившийся медсестрой, которая поставила рядом на тумбочку рюмашку с таблетками.
 - Примите лекарства. Завтракать будете?
 - Нет.
- Говоришь, кисель у тебя? Дал бы хлебнуть... —послышался хриплый голос больного с кровати, стоящей у противоположной стены.

Попросил медсестру налить киселя и ему.

«Ох, Маринка! — подумал я. — Ну и досталось тебе... Сегодня должны были лететь в Италию. Все испортил и ей, и Нике».

Снова потянуло в забытье.

…Одурелого от таблеток, капельниц, кардиограмм, на второе или третье утро меня пробудил топот, какая-то возня медиков у противоположной койки. Потом появилась каталка. Больного быстро повезли на ней. Накрытого с головой. И я расслышал короткое, как выстрел, слово — морг.

Пришла санитарка. Заново застелила опустевшую койку.

Все, кто были в палате, лежали затаившись, как дети, напуганные страшной небылью.

6

Наверное, как каждый, я чутьли не с детства подумывал о неотвратимом конце... Видел во дворе у клумбы мертвую бабочку, видел похороны красноармейца Феди из соседнего флигеля. «Все помирают! — не без хвастовства сообщила мне девочка Нюрка из нашего двора., — И ты помрешь!»

Но сызмальства вне всякой логики почему-то казалось, что смерть — это не про меня. Умирают другие.

С этим подспудным чувством я прожил довольно долго, лет до сорока, суеверно уклоняясь от участия в похоронах, посещения кладбищ. Родители были живы, друзья тоже.

Чем дольше я жил, тем больше страшился, как заразы, всего, что так или иначе связано с уходом человека. Желание избежать неизбежного особенно усилилось после того апрельского утра, когда мне впервые все-таки пришлось прийти к зданию больничного морга, где должно было состояться отпевание первого из череды друзей, дорогого мне человека.

Народа к моргу пришло много. И священник уже прибыл. А труп все не поднимали в залец, где прощаются с покойным.

Над головой в юной листве деревьев наперебой чирикали воробьи, хрипло ворковал сизарь, топая среди травы за голубкой.

Покойный был лет на пятнадцать моложе меня. Дико было представить себе, что вот сейчас увижу мертвым этого обаятельного, талантливого красавца, у которого во время сна почему-то оторвался тромб и попал в сердце.

Собравшиеся с цветами в руках толпились снаружи у раскрытых дверей зала. Священник утешал мать умершего.

Внезапно из глубины морга послышался грохот заработавшего компрессора. Потом последовал как бы мощный выдох. Ноздри наполнил вырвавшийся наружу омерзительный смрад. Трупный. Такой невыносимый, что всю толпу отшатнуло от морга.

- Проветрили! раздался через несколько минут голос служителя. Заходите!
- Как после двадцатого съезда, сказал священник, вдыхая очистившийся воздух.

...Вот что ярко вспомнилось мне, когда после того, как умершего увезли, за мной чуть ли не с той же самой каталкой явились два санитара, чтобы перевезти из отделения реанимации в обычную палату.

— Сам. Не надо каталку! — Я сделал попытку подняться. Даже ступил на пол. — Где моя одежда?

Ложитесь! — испуганно осадил меня один из сенаторов. — Нельзя вставать.

А я, оказывается, и не мог встать. Ноги подгибались.

Вывезли холодным коридором, где сиротливо мерцали люминесцентные лампы, в вестибюль к грузовому лифту. Там было окно, за которым, озаренное живым солнечным светом, стояло дерево. И пока ждали лифта, я не сводил глаз с его ветвей, его листвы. Там, на воле, длилось лето. Там оставался мир без меня.

Со скрипом и грохотом наконец появился грузовой лифт, и санитары вкатили меня в его тусклое нутро. Увидел тощую старушку в грязном халате, управляющую посредством кнопок этим механизмом. Подумал о том, как она весь рабочий день за гроши курсирует в этой подвижной клетке с живым и мертвым грузом.

Мы поднялись на несколько этажей. Санитары стали меня вывозить, и я сказал ей:

- Спасибо, бабушка.
- На что мне твое спасибо? огрызнулась она. Спасибом сыт не будешь.

Мельком прощально заметил в окне крону дерева. Затем коридор с маленьким холлом, где ходячие больные в халатах и пижамах таращились в экран телевизора. Открытые двери палат. В одну из них меня ввезли.

Четверо обитателей палаты молча взирали со своих постелей на то, как меня перекладывают на койку у окна.

Кружка и пластиковая бутылка с остатками киселя были водружены справа на тумбочку. По другую сторону тумбочки находилась еще одна свободная кровать.

Чувство ученика, которого перевели в незнакомую школу, в новый класс, испытывал я, согреваясь под одеялом.

— Михаил Иванович! — попросил какой-то бородач с койки у двери. — Ему дует.

Меня и в самом деле бил озноб.

Лежавший поверх застеленной постели человек в тренировочном костюме отбросил газету, снял очки, юрко соскочил со стоящей торцом ко мне противоположной койки, влез на табурет, затем на подоконник. Захлопнул форточку.

— Вам надо чего? — оглянулся он на меня. — Если что, тут над тумбочкой шнур. Потяните — придет дежурная.

Сил не было благодарить. Кивнул. Начал впадать в забытье.

И снова стал трехлетним мальчиком в матроске. Отчего это бывает? Из глубин памяти, со дна времен всплывает то, о чем вроде бы не вспоминал, не думал всю жизнь.

...В воскресенье папа привел к нам в гости своего сослуживца по текстильной фабрике. Это немецкий инженер. В свое время он приехал в СССР, сопровождая закупленные в Германии станки для прядения шерсти. И остался здесь. Потому что он был коммунистом. А у него на родине к власти пришел Гитлер.

Не помню, как этот инженер выглядел. Помню только поразившую меня корявость его русской речи. Помню, как он гладит меня по голове, фотографирует своим заграничным фотоаппаратом и несколько раз говорит: — «Каков счастливый мальчик! Когда вырастешь — увидишь коммунизм. Будешь жить при коммунизме».

Вот кто сделал фотографию, которая висит у меня в круглой рамочке под тем местом, где была тарелка!

Получила ли Тамрико деньги? Все-таки послал их Немировский? Или, как теперь говорят, кинул меня?

...Кто-то гладит по голове. Открываю глаза. Вижу склонившуюся надо мной Марину.

- Ну, как ты? спрашивает она. Привезла тебе завтрак.
 - Почему ты не на работе?
 - Ты забыл. Я ведь уже четыре дня в отпуске.
 - Устроил тебе с Никой отпуск... Как Ника?
 - Она здесь.

И правда, вот она, моя девочка. Застенчиво стоит поодаль. Смотрит, словно не узнает.

— Никочка, ты чего? Иди сюда поближе.

Несмело подходит.

— Ника, да что с тобой? — вмешивается мать. —Поздоровайся с папой.

Ника быстро чмокает в щеку. Отпрянула.

— У тебя исчезли волосы, — объясняет Марина.

Провожу ладонью ото лба к затылку. Провожу по щекам, которые должны были за эти дни покрыться небритостью.

Гладко.

Марина пытается накормить меня заботливо приготовленным дома салатом из помидоров, тушеной говядиной с гречневой кашей, еще теплыми.

Ничего в горло не лезет.

Начинается обход. Оставив пластиковые коробки с едой на тумбочке, Марина с Никой, к моему облегчению, вынуждены уйти. С трудом скрываемое отчаяние написано на их лицах.

Неужели мое дело труба? Зачем тогда перевели из реанимации? Молодая врач с тетрадью в руке, за ней медсестра по очереди подходят к каждой койке, где в ожидании уже приподнялись больные.

У самой двери лежит единственный в палате молодой парень. За ним виден рукомойник с зеркалом. Мне туда не дойти, не добраться... А любопытно было бы глянуть на то, чего родная дочь не узнала.

«Вот и дожил до коммунизма», — вспоминаются слова бедолаги немца. Что с ним сталось после 1941 года? В начале тридцатых фотоаппарат был еще в диковинку.

Сфотографироваться считалось событием. У него, вероятно, была «лейка».

Во что теперь превратился я — трехлетний мальчик в матроске? А во что превратились мы все — граждане бывшего СССР? Все мы тут валяемся как обломки империи. Один, как я успел понять во время обхода, — тот, кто закрывал форточку, — русский, другой — тот, кто попросил его это сделать, — судя по акценту, кавказец.

Кто двое остальных — не ясно. Сидят на постелях в белых казенных рубахах, по очереди подвергаются осмотру и опросу улыбчивой врачихи.

Вот дело доходит и до меня. Задираю рубаху, чувствую холодное прикосновение к груди фонендоскопа. Выслушивает сердце. Проверяет, принял ли таблетки. Измеряет давление. Спрашиваю, почему меня не держат ноги, не могу встать.

- Вставать ни в коем случае нельзя, отвечает врачиха. Сегодня вас отвезут на рентген. Только что говорила с вашей женой. Жаловалась, что ничего не хотите есть. Имейте в виду сердцу сейчас необходимо питание. Мясо. Фрукты. В этих коробочках то, что она принесла? Не капризничайте. Заставляйте себя через «не хочу». Помните: то, что с вами произошло, очень серьёзно. Через день-другой можете воспользоваться одним из кресел-каталок, которые стоят в коридоре. Есть вопросы?
- Два. Доктор, я буду жить? Поживу еще хоть несколько лет?

- Никаких гарантий. На улице кирпич может упасть на голову... Второй вопрос?
 - Курить хочется...
 - Что ж... Резко бросать нельзя.

Сигареты вместе с одеждой остались в приемной реанимации. Но я уже почти счастлив. Заставлю себя поесть, перебазируюсь в кресло-каталку, стрельну у кого-нибудь курево в коридоре.

8

Итак, Господь, видимо решил попридержать меня в этом мире. Я, конечно, не знал, какие у Него виды.

Как бы то ни было, я сидел в кресле-каталке у окна вестибюля третьего этажа. С преступным наслаждением предавался курению сигарет, которые мне выдал добродушный грузин из соседней палаты. Он оправлялся от второго инфаркта и со дня на день ждал выписки.

Время от времени за моей спиной прогрохатывала махина грузового лифта. Старушка-лифтерша высовывалась оттуда, как кукушка из старинных часов-ходиков, бессильно пытаясь пресечь наглое табакокурение.

А я, словно моряк после шторма, возвращался к самому себе. Мне казалось, что самое страшное позади. Одно только пугало — почему ноги не держат и я вынужден пользоваться инвалидной каталкой.

Я думал об этом, смотрел через стекло окна на густую крону нежащегося под солнцем дерева. Того самого,

которое я мельком уже видел снизу. Оно казалось настолько красивым, что трудно было предположить, что это обыкновенный тополь. Он был какой-то особенно стройный, густолиственный. Воробьи то скрывались в его зеленых недрах, то вылетали пулей. Их чириканье доносилось и сюда, в эту обитель скорбей.

Множество моих предшественников наверняка тоже любовались растущим на воле красавцем. Таким близким и таким недоступным.

А может быть, после той передряги, в которую я попал, любая травинка может казаться чудом.

Но ведь и без всяких передряг в моей памяти наберется целый парк безмолвных друзей, самим фактом своего существования ободрявших меня на протяжении жизни.

Нет, не безмолвных!

О чем-то шептала под дождем склонившаяся надо мной плакучая ива, когда я сидел с закинутой удочкой в лодке. К стволу этой ивы я привязал на рассвете свою плоскодонку и оказался внутри зеленого шатра.

Тогда я был подростком. Но до сих пор помню, как учился забрасывать удочку, чтобы не зацепиться крючком за ветви, как привязал веревочный кукан с пойманной рыбешкой к самой длинной из ветвей, как подрагивала она, когда улов ходил кругами по воде.

Не знаю, сколько лет живут ивы. Надеюсь, она до сих пор смотрится в чистые воды скромной русской реки.

А еще в моей жизни был огромный куст персидской сирени, росшей в полукруглом дворе сухумской гостиницы «Абхазия».

По утрам, сидя в одиночестве за столиком под гроздями лиловых соцветий, хорошо было пить из белой чашечки турецкий кофе. На большее часто не было денег. Но благодаря персидской сирени завтрак мой был царским.

...Раскидистый грецкий орех-патриарх, растущий среди рощи своих собратьев в долине, зажатой между горных хребтов Таджикистана, давал тенистую защиту от солнца, уединение для моих занятий. И щедро кормил своими плодами в колючей кожуре... Цветущий каштан в Минске у католического костела... Увешанная сверкающей в лучах рассвета росой елочка по дороге к подмосковному водохранилищу...

А королевская пальма при входе на пляж итальянской Варлетты! В войлочных чешуях ствола она давала приют маленьким пугливым ящеркам, а меня хранила от палящего солнца, когда с полотенцем через плечо ждал своего друга Донато.

А еще в Тунисе растет удивительный, может быть единственный в мире, кучерявый кипарис. Нас вдвоем по моей просьбе сфотографировала Марина, и это одна из самых дорогих для меня фотографий.

А тысячелетняя слива, живущая у родника на острове в Эгейском море! Помню, как в жару пил из жестяной кружки холодную пресную воду, а вокруг штормила

стихия соленой воды. С оливы под ветром падали почти черные маслины. Она еще плодоносила.

— Чего-то вас долго нет, — раздается за спиной. — Дым пускаете? Кому кадите?

Юркий Михаил Иванович со сползшими на нос очечками, со смятой газеткой в руках прерывает целительную для меня череду воспоминаний. Это он вызвался привезти из коридора к моей постели кресло-каталку, помог в неё перелезть.

- Кому кадите? снова вопрошает он и, видя, что я не нахожу, куда выкинуть докуренную сигарету, устремляется на лестничную клетку, откуда приносит банку для окурков.
 - Спасибо.
- Не швыряйтесь этим словом. Знаете, что оно означает? Спаси Бог! Хотите, отвезу обратно в палату? Скоро обел.
 - Спасибо. То есть благодарю. Я сам.
- Да, видел, как вы мучаетесь с колесами. Все время заносит не туда.

Он разворачивает меня с креслом-каталкой, вывозит из светлого вестибюля с тополем за окном в полумрак коридора. У раскрытой двери нашей палаты приостанавливается, нагибается к уху.

— Заметил у вас крестик на шее. Хотите, дам почитать газету «Русь державная»?

Неужели дела мои так уж плохи? Судя по тому, что я увидел, возвратясь в палату и подкатившись к зеркалу над рукомойником, неважны.

Безволосая голова — сущий череп, синячищи под глазами.

Воспользовался случаем, кое-как запоздало умылся. Подкатил к своей кровати, перебрался на нее.

Услужливый Михаил Иванович тотчас вывез опустевшее кресло в коридор. А там уже подкатывала с громыхающей двухэтажной тележкой санитарка.

- Мужички! Разбирайте еду! Живенько!
- Супчик на первое! Перловый! бодро крикнул от дверей Михаил Иванович. — Будете?

Все кроме меня были ходячие. Все разносили наполненные тарелки по своим тумбочкам. Лежа поверх одеяла в привезенном Мариной домашнем тренировочном костюме, я смотрел на суету людей, радующихся хоть какому-нибудь нарушению нудного течения больничного времени. И никак не мог взять в толк — где я все это уже видел?

- Кушайте, дорогой! Будете кушать будете жить, мимоходом посоветовал бородатый кавказец.
- Кто вы? спросил я этого рослого человека с непомерно большим животом, распирающим больничные шаровары. Из Азербайджана?

- Армянин, ответил он, присаживаясь со своей тарелкой супа на табурет рядом с моей кроватью, — надо питаться.
 - Потом. Позже. Вы здесь уже сколько дней?
- Завтра обещают выписать, неопределенно ответил он и поделился. Летел из Еревана в Москву. По дороге инфаркт. Были в Ереване?
- К сожалению, никогда. Вы там живете или в Москве?
- Во Франкфурте-на-Майне. Там семья. Там моя база. Летаю оттуда по всему миру в Америку, по всей Европе, в Индию, Пакистан.
 - Торговый бизнес?
- Я доктор. У меня пациенты по всему миру. —Он дохлебал суп и сообщил, понизив голос: — Года полтора назад завтракал вместе с бен Ладеном.
 - Где? задал я глупый вопрос.

И получил ответ:

- Врачебная тайна.
- А можно спросить зачем летали в Ереван?
- Занимаюсь благотворительностью. Открывал школу.

От этого разговора голова пошла кругом. Я закрыл глаза. Под усыпляющее звяканье посуды начал задремывать.

...Похожий на ветхозаветного пророка бен Ладен со своим посохом и автоматом, которого я не раз видел на экране телевизора, и этот словоохотливый армянин с его довольно-таки фантастической судьбой...

Собственно, от каких болезней он лечит, летая по всему свету? А может, голова кружится и впрямь оттого, что ничего не ем?

Стремительная, запыхавшаяся Марина склонилась надо мной, целует.

- Почему не обедал?
- С чего ты взяла?
- Люди говорят. Сейчас же садись. Будешь есть то, что я приготовила. Хочешь совсем ослабнуть?

Достает из большого пакета термос, наливает в нашу домашнюю миску борщ, выдает ложку.

И пока я впихиваю в себя первое, перекладывает из пластиковой коробочки в тарелку котлету с картофельным пюре, нарезанный кружочками огурец.

- Спасибо, Мариночка. С меня борща хватит. Больше не смогу. Я впервые обращаю внимание на то, что голоса моего почти не слышно. Слабый, старческий.
- Только что была в ординаторской у твоего врача. Она сказала: необходимо мясо. Не капризничай. Марина вилкой запихивает мне в рот куски котлеты.

А у меня нет сил на то, чтобы жевать. Я готов заплакать как ребенок от ее усилий, своей беспомощности, оттого, что палата смотрит на то, как меня кормят.

В конце концов, наверное, каждого, кто ухитрился дожить до старости, ждет подобный итог. Но ведь внутренне я не чувствую себя стариком!

- Ну ладно, говорит Марина. Дай слово, что поешь позже. А пока вот выжала тебе полную бутылку морковного сока. Запей им дневные таблетки.
 - Хорошо.

Принимаю лекарства. Марина начинает прибирать посуду. Вдруг понимаю, что она голодна. Зверски.

— Так и быть, — неожиданно легко уступает она моим уговорам. — Ложку — ты, ложку — я.

Как славно быть вместе, обедать вместе.

Марина больше чем на тридцать лет моложе меня. Замоталась с ребенком, со мной...

- А что Ника? Как Ника?
- В этот раз не взяла ее с собой. Наша девочка позаботилась о тебе, увидела — везу мобильный телефон, говорит: «Отвези папе и радио, чтобы слушал свою «Свободу». Радио и мобильник вот в этом пакете.
 - Кстати, звонила Тамрико из Тбилиси?
- Нет. Только не волнуйся. Ты и так сделал все, что мог. Лежишь тут с инфарктом...

«Сам погибай, а товарища выручай», — вспомнил я слова Немировского и опять с ужасом подумал о том, что он мог не выслать денег, мои усилия были напрасны и Алеша обречен остаться недвижным инвалидом.

Марина, а курить привезла?

Она нерешительно смотрит на меня. И тут раздается голос Михаила Ивановича:

 Он у вас курит возле лифта. Правда, ему врач разрешила. Марина достает из сумочки пачку сигарет, зажигалку.

Забираю их, прошу привезти из коридора кресло, провожаю ее до вестибюля.

И остаюсь наедине с моим заоконным тополем.

10

Я лежал под очередной капельницей. Видел над головой закрепленную на высоком штативе склянку, откуда по длинной трубочке сочилась в мою вену на правой руке лекарство.

Думал о том, что, наверное, в каждой больнице рассвет начинается с того, что в палату влетает дежурная медсестра, держа в руке банку с торчащими, позвякивающими градусниками, по очереди тормошит больных, заставляет измерять температуру. В то время как особенно хочется хоть немного доспать после тяжелой больничной ночи.

Затем приходят брать кровь и мочу на анализ.

Только потом наступает пауза, когда больные один за другим вяло влекут себя к рукомойнику умываться, бриться, чтобы снова вернуться к своим надоевшим койкам ждать завтрака — какой-нибудь манной каши и жидкого чая.

Правда, в палате есть холодильник и каждый может добавить к трапезе что-нибудь из своих запасов.

Кажется, у каждого есть родственники и друзья.

Кроме армянского доктора. Доктор только что, не дождавшись завтрака, простился со всеми и поехал прямо в аэропорт Шереметьево добывать билет на ближайший рейс во Франкфурт-на-Майне.

...Унизительная зависимость от кресла-каталки не давала мне теперь надежды не только на вольные путешествия, но даже на привычное перемещение по комнате.

- Прочли мою газету? Михаил Иванович, пользуясь тем, что я присоединен к капельнице, как рыба, попавшаяся на удочку, бесцеремонно присел на краешек моей койки, тихо сообщил:
- Жена принесла еще пяток номеров «Руси державной» и газету «Радонеж». Судя по фамилии, вы еврей, почти шепотом продолжалон, но крестик-то у вас православный. А ведь жид крещеный что вор прощеный...

Я закрыл глаза. Притворился дремлющим. Однако Михаил Иванович продолжал страстным шепотом и пригибаясь ко мне так, что я поневоле морщился от его несвежего дыхания:

- Сообщают: иудеи сионские мудрецы вместе с американцами создали тайное всемирное правительство. Мировую закулису! Слыхали?
- Слыхал-слыхал... Михаил Иванович, позовите, пожалуйста, медсестру. Лекарство кончилось. Пусть отключит меня от капельницы.

Он побежал выполнять мою просьбу. Тщедушный, в болтающихся на нем мятых шароварах.

После того как медсестра освободила меня, Михаил Иванович нацелился было снова пристать со своей антисемитской пропагандой, но тут в палату стремительно вошла и направилась ко мне Лиля. Доктор Лиля нашла время, видимо по дороге на работу в свое отделение, навестить меня после нашей встречи в реанимации.

Я был тронут так, как если бы меня посетил наш общий духовный отец Александр Мень.

Оказалось, она только что встретилась с моим лечащим врачом, знала все о моем состоянии лучше меня.

Я разговаривал с ней, испытывал сложное чувство жгучего стыда за свое безумное поведение в реанимации и благодарности за вовремя показанный кулак, за ее такое своевременное вмешательство.

 Не валяй дурака, — сказала Лиля, прежде чем уйти. — Должен питаться, поддерживать себя.

В дверях палаты она столкнулась с санитаркой, разносящей завтрак, обернулась:

- Чай, бутерброд с сыром и каша. Чтобы все съел!
- Кто она вам? не без зависти спросил Михаил Иванович.

Кроме нас в палате теперь осталось два человека. Нелюдимый, не вступающий в контакт ни со мной, ни с ним плешивый джентльмен в синем простеганном халате и молчаливый парень, ютящийся на койке у рукомойника. Лицо джентльмена порой казалось знакомым. А парень

вызывал во мне острое чувство жалости. Под вечер к нему прибегала девушка. Они часами сидели на койке в обнимку, чуть раскачиваясь и не говоря не слова.

- Кто она вам? продолжал допытываться Михаил Иванович.
 - Сестра во Христе, ответил я наконец.

Явно довольный ответом, он расторопно принес и поставил на тумбочку мой завтрак. Снова уселся со своей тарелкой каши рядом, сообщил:

— У Николая Второго «Протоколы сионских мудрецов» были настольной книгой — так напечатано в «Радонеже».

После завтрака и врачебного обхода я попросил Михаила Ивановича привезти кресло. И он привычно покатил меня в вестибюль. Прокатили мимо холла, где с утра пораньше сидели против включенного телевизора больные, преимущественно старые женщины в халатах.

Я уже понимал, что усердный читатель «Руси державной» и «Радонежа» не оставит меня наедине с тополем, и решил выяснить, что такое этот Михаил Иванович, откуда взялась его псевдоправославная настырность.

Но тут раздался голос:

— Простите, что не смог навестить вас раньше.

Я увидел моего теперешнего духовного отца в рясе, с крестом на груди.

Приехал, принес в чемоданчике все необходимое для того, чтобы справить обряд, причастить.

Михаил Иванович проявил некоторую деликатность. Отошел подальше в сторону к грузовому лифту, наблюдал за нами и все время крестился, пока не ушел священник.

Михаил Иванович продолжал стойко держаться рядом. И хотя он явно проникался ко мне все большей симпатией, не преминул упрекнуть:

- Нехорошо, что он причастил вас, после того как вы позавтракали.
 - Михаил Иванович, кто вы такой?

Без всякой заминки и даже с готовностью он стал отвечать на расспросы. Сразу стало понятно: этим человеком никто никогда не интересовался.

Оказалось, бывший прапорщик.

11

Рутинная жизнь палаты продолжала о чем-то напоминать. Особенно когда уходила Марина.

Она навещала меня порой несколько раз в день. Привозила домашнюю еду. Перезнакомилась со всеми моими сопалатниками и даже с их посетителями. Подбадривала не только меня — всех.

Представляя себе ее обратный путь домой, я терзался совестью. Но поделать ничего не мог. Однажды, когда я стал поднывать, просить, чтобы она поговорила с врачихой о моей выписке, Марина проговорилась. Врач ей

сказала, что пока мои кардиограммы и анализы не сулят ничего хорошего.

После таких новостей каково было одиноко возвращаться к Нике?

Оставшись без нее, острее ощущал свое одиночество. И в то же время рядом со мной словно кто-то появлялся. Не Бог, не ангел небесный.

Словно чьими-то глазами видел я эту палату, этого Михаила Ивановича, этого плешивого джентльмена в синем халате и шлепанцах с меховой оторочкой, этого парня у рукомойника, молча раскачивающегося по вечерам в обнимку со своей девушкой.

Молчали они о страшном. Как донес мне Михаил Иванович, у парня — Вити с рождения ненормально большое сердце, обрекающее его теперь на скорую гибель. Ни операции, ни терапия спасти его не могли, и вот Виктор уже который месяц угасал в палате, ни на что не надеясь. И при этом всячески порывался отвоевать у Михаила Ивановича право катать меня в кресле.

Но этого права бывший прапорщик уступать не желал. Он дорожил моим терпеливым вниманием, возможностью рассказать о себе. И поделиться вычитанными в газетках бреднями.

Он оказался деревенским жителем, единственным оставшимся в живых потомком раскулаченной когда-то и прибившейся в Забайкалье семьи. От голода и болезней вымерла вся родня. Появившийся после войны малец выжил благодаря чужим людям, детскому дому.

После школы попал в армию. Теперь солдатчина вспоминалась ему лучшим, самым сытным временем жизни. Служил он там же в Забайкалье.

Солдаты-сослуживцы демобилизовывались волна за волной, а он оставался. Потому что выходить на гражданку было некуда.

При том что гарнизонное начальство ценило его безотказную расторопность, выше прапорщика он не возрос, ни на какие учебные курсы идти не хотел. Да его и не посылали.

У Михаила Ивановича сформировалась психология слуги. Хорошо ему было пребывать в услужении у офицеров. Не считал зазорным чистить им сапоги.

Единственное, что с течением лет все чаще омрачало Михаила Ивановича, — это усиливающееся ощущение тяжести на сердце, одышка, шум в голове и ломотьё в затылке. Как он ни старался скрывать недомогание, врачебная комиссия все же списала его из армии. В никуда.

Как он оказался в Подмосковье, как познакомился с бездетной пятидесятилетней вдовой —старостой сельского храма, я не стал уточнять.

- Это она потчует вас «Русью державной» и «Радонежем»? — спросил я как-то, лежа под очередной капельницей.
- Нас окормляет духовный отец батюшка Серафим— настоятель храма, ответил Михаил Иванович. Посылает меня в Москву за свежими газетами. В метро меня и прихватил инфаркт.

Держа на отлете бритвенные принадлежности, джентльмен в синем халате прошлепал мимо нас, выразительно посмотрел, словно хотел что-то сказать. Но все же промолчал, проследовал дальше к рукомойнику.

Жену Михаила Ивановича мы все уже видели. Юркая, сухонькая чернавка, она навещала его дважды в неделю. Первым делом перестилала постель. Потом доставала из кошелки провизию. Перекрестясь, закусывали вдвоём. Затем заставляла его прилечь, шуршала привезенными газетами. Читала ему вполголоса о той же «мировой закулисе», о евреях, задумавших погубить русский народ.

Часто повышала голос, явно желая, чтобы откровения «Руси державной» услышали и мы все. «Геополитический заговор сионистов достиг своего апогея», — шустро балабонила она.

Как только она в сопровождении своего Михаила Ивановича ушла, джентльмен не выдержал. Он подошел ко мне, опустился на стоящую рядом пустую кровать, яростно зашептал:

— Это невозможно больше терпеть. Как вы, Володя, можете с ним общаться? Ужас какой-то. Подсудное дело...

Удивленный тем, что он назвал меня по имени, я мог бы ему многое ответить... Но в этот момент Михаил Иванович, проводив жену, вернулся в палату. И я сказал коротко:

Лежачего не бьют.

Если бы десяток дней назад я помер на одной из центральных улиц Москвы, то не знал бы ни этой палаты, ни коридора, ни вестибюля, где я покуриваю, сидя в кресле-каталке перед окном с тополем.

Получалось, должен быть счастлив хотя бы наличием этого жалкого микромира с его специфическим пространством-временем.

Залетающие с воли посетители с деланно оживленными лицами не мыслят о том, что попадают в собственное будущее, их пространство и время совершенно другие по сравнению с этим застойным мирком.

Вместе с Мариной или отдельно меня тоже посещают друзья и знакомые. Преимущественно читатели, прослышавшие о беде. Конечно, это приятно, хотя утомительно. Отчетливо вижу, чувствую, как их быстро начинает угнетать несвобода, несовпадение ритмов больницы и воли.

Особенно ярко это заметно, когда приводят Нику. Девочке здесь явно не по себе.

Они уходят, а ты остаешься. Как рыба на песке после отлива...

У меня хотя бы есть надежда. А каково обреченному Виктору с его непомерно большим сердцем? Невозможно не думать о нем, и нет ничего тупиковее этих мыслей. Парень не достиг и двадцати пяти лет, в сущности, только начал жить... О чем все-таки он молчит со своей девушкой, часами раскачиваясь по вечерам?

...Воспользовавшись тем, что Михаила Ивановича вызвали на другой этаж в рентгеновский кабинет, в вестибюле появляется наш соратник—нелюдимый джентльмен в синем халате.

Володя, — говорит он, — неужели я так изменился,
 что ты до сих пор меня не узнал?

Высится надо мной, криво улыбаясь. Невероятно! Неужели это Эдуард Максимов?!

- Эдик! Прости, ты действительно изменился.
 Что случилось? Последний раз я видел тебя на экране телевизора году в девяносто третьем.
- В девяносто шестом, поправляет меня Максимов.
- Слушай, почему тебя никто не навещает? Жена жива?
- Мила погибла в автокатастрофе. Дочка вышла замуж за англичанина. Живет в Манчестере.
 - Далеко...
 - Далеко, Володя... А я о тебе все знаю.
 - Каким образом?
- Покупал твои книги. Кажется, не пропустил ни одной. В той, где «Сорок пять историй», почему-то искал рассказ о себе. Помнишь, как ты однажды спас меня пьяного?
- Было дело. Кажется, в шестидесятых годах. Что же с тобой произошло потом, после того как во время перестройки ты вдруг стал депутатом сначала Верховного совета, а потом членом Государственной думы, соратником

сначала Горбачева, а потом Гайдара и Ельцина? Видишь, я тоже следил за твоей деятельностью. С надеждой. Знал о тебе все. Или не все?

- Не все... Скажи по совести, как ты ко всему этому относишься, к этой эпохе?
- По совести? Лучше Лермонтова не скажешь —
 «С насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отном».

Максимов молча стоял лицом к окну, к моему тополю. И тут ревниво набежал Михаил Иванович. Максимов повернулся, ушел в палату.

- Снимали рентген легких, сказал Михаил
 Иванович. Чего там увидели, не сообщили.
- Снимки должны просохнуть, сказал я. —Не волнуйтесь. Потом сообщат.
 - Может, отвезти вас в палату?
 - Спасибо. Идите. Покурю. Побуду один.

...Возобновленное знакомство с Максимовым всколыхнуло. Он был человек неожиданных поступков, поворотов судьбы.

В начале шестидесятых годов нас одновременно приняли на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Уже тогда у него была репутация диссидента. И пьяницы. Не стесняясь, резал лекторам правду-матку, говорил все, что о них думает. Это была храбрость человека, находящегося в состоянии тяжелого похмелья.

Однажды к нам привезли делегацию толи чехословацких, толи венгерских кинематографистов. Они

показали несколько своих фильмов. Не очень удачных. После просмотра все направились в буфет выпить кофе.

Там, в буфете, Максимов обратился к иностранцам, знающим русский язык, с речью. «Что вы тужитесь? — презрительно сказал он. — Никогда ничего великого не создавали. И не создадите! Провинция! Подбираете крохи со стола Запада!»

На следующий день с курсов он был изгнан.

Через несколько месяцев, помнится ранним декабрьским утром, я неожиданно увидел его на заметаемой вьюгой улице «Правды». Он, раскачиваясь, сидел на снегу без пальто и обнимал фонарный столб.

«Замерзаю. Домой хочу, к жене», — потребовал Эдик.

Я еле добился от него, чтобы назвал адрес. Остановил такси. Довёз. Доставил в квартиру, где сдал с рук на руки жене Миле, которая оказалась респектабельной дамой.

Больше до этой встречи в палате инфарктников с ним не пересекался. Странным показалось, что Эдуард прозябает здесь, а не в привилегированной Центральной клинической больнице для государственной элиты, к которой бывший член Государственной думы вроде бы должен был принадлежать.

Поехали! — вбежал в вестибюль Михаил Иванович. — К вам пришли. Какой-то мужчина в белом халате.

Ай да Лиля! Прислала ко мне доктора — специалиста по лечебной физкультуре.

Тот терпеливо научил делать упражнения для ног. Целых десять упражнений. Запретил пользоваться креслом-каталкой.

Теперь палата посматривала на то, как я несколько раз в день упражняю свои мышцы, кручу ногами педали воображаемого велосипеда, вроде бы ползу по-пластунски поверх одеяла... Жалкое зрелище!

Устаю. Иногда кажется, что начинаю ощущать тяжесть в области сердца. Тогда приходится отдыхать.

...Лежал со своим приёмничком возле уха, слушал новости, когда ко мне в очередной раз подсел Михаил Иванович.

- Вы какую станцию ловите?
- «Свободу».
- А еще есть патриотические тот же «Радонеж», «Народное радио»...
 - Так вы еще и оттуда черпаете?
- Они доказывают, что еврейская мировая закулиса, в которую вы не верите, уже тысячу лет старается погубить русский народ. Сначала послали немецких псов-рыцарей, которых разбил святой Александр Невский, потом хана Батыя, потом поляков-католиков, которых разбили Минин и Пожарский, потом фашистов, которых разбил Сталин... Неправда, что ли?

Ну что мне было делать с этим Михаилом Ивановичем — легкой добычей национал-патриотической пропаганды? При всей своей простодушной услужливости лез ко мне, еврею, со своими антисемитскими бреднями...

Выключил радио.

- Михаил Иванович, вы действительно считаете себя христианином?
 - Я православный христианин!
- Ну, хорошо. Вы православный христианин. А как может христианин, пусть даже и православный, ненавидеть целый народ? Тем более давший миру Христа, Богородицу, множество Героев Советского Союза, жизни отдавших за нашу с вами Россию? Вообще, как это получается, что вы, называющий себя христианином, живете ненавистью вопреки главному завету Христа любить ближнего, как самого себя?
- А зачем евреи внушили выложить на полу храма Христа Спасителя свою сионистскую звезду Давида? Называется могендовид.
- Кто это сказал? Ваш духовный наставник? Я слышал, как вы с женой после обеда распеваете псалмы. Их создал царь евреев Давид. Читали библию? Если читали, думали над тем, что читаете? Что касается нашей родины, нашей России, то скажите вашему духовному отцу...

Но тут Михаил Иванович перебил меня совсем уже диким сообщением:

- Они, сионисты, даже подсылают к нам своих попугаев!
 - Каких еще попугаев?
 - Белых какаду.

И он рассказал, что в их подмосковном поселке живет большая семья какого-то капитана дальнего плавания. Капитану подарили в Израиле молодого попугая какаду. Семья капитана два года растила его, добивалась, чтобы он заговорил. Из-за этого попугая среди многочисленных родственников капитана вечно вспыхивали ссоры с оскорблениями, рукоприкладством, дикой руганью.

Попугай молчал. Безобразия в семье продолжались. Однажды престарелая бабушка капитана пожаловалась на происходящее жене Михаила Ивановича. Та посоветовала пригласить батюшку, чтобы освятил квартиру.

Тот получил вперед плату за освящение. И в назначенный день торжественно явился с чемоданчиком, где было все необходимое — свечи, кадило с ладаном...

И вот только священник начал обходить комнаты, бормоча молитвы и брызгая на стены кропилом, как из клетки раздался истошный вопль: «Пошел на... Твою мать!»

Проклятый израильский попугай неистовствовал, демонстрируя весь накопленный за два года запас матерщины.

Угомонить его не удалось, и отец Серафим, захватив свои манатки, бежал, проклиная нечистую силу.

- …Я, конечно, засмеялся. Смеялся со мной и Михаил Иванович. Глупый, несчастный экс-прапорщик.
 - Чего ржете? угрюмо поинтересовался Виктор.
- Не говорите, шепнул Михаил Иванович. Ему было неприятно выставлять своего отца Серафима в смешном виде.

14

Ошалел. Обрыдло. Каждое утро непременное измерение температуры, анализы, капельница. Потом физические упражнения. Затем завтрак. Прием таблеток. Врачебный обход.

Взмолился: «Когда выпишете?»

«Держим минимум двадцать один день, — ответила врач. — При хорошей динамике».

- А меня завтра выписывают! громко похвастался Михаил Иванович.
- Значит, не будет вам больше дармовой манной каши, заметил Витя.
- Что мне твоя каша? огрызнулся Михаил Иванович. Жена, слава Богу, кормит со своего огорода, своего хозяйства. У нас и куры свои, и поросенок даже.
- То-то каждый раз уносит в судке ваши объедки, не унимался обычно неразговорчивый Виктор.

Выписки ждать ему не приходилось... Перед рассветом я проснулся, увидел, как бедняга, встав на табурет

и прильнув к открытой форточке, жадно дышит свежестью ночи.

 Слушайте, а нельзя ли потише, — вмешался в их перебранку Максимов. — Разгалделись, как вороньё.

Он шумно сел на кровати. Потом снова лег, демонстративно укрывшись с головой одеялом.

В палате наступила тишина.

Уже несколько дней, как стало понятным, где я все это уже видел. Видел много лет назад, читая великую книгу А.И. Солженицына «Раковый корпус». Правда, события, которые описаны там, происходили в другие времена, вроде бы совсем не похожие на нынешние. Хотя как сказать...

Я поднялся. Проверил, есть ли в кармане шаровар сигареты и зажигалка. Придерживаясь за спинки кроватей, за стенки, потихоньку пошел к выходу.

 Может, вас все-таки подвезти? — крикнул в спину Михаил Иванович.

Я не ответил. Ноги не слушались. Подгибались. Все-таки вышел в коридор. Постоял секунду-другую. Двинулся дальше, все так же придерживаясь за стены. Когда оказался рядом с отсеком, где в глубине стоял телевизор, почувствовал, что свалюсь. Поэтому рад был плюхнуться в ближайшее ободранное кресло.

Телевизор, как всегда, работал. Но сейчас здесь никого не было. Кроме одинокой старушки. Да дежурной медсестры, которая, сидя за своей стойкой, то посматривала на экран, то раскладывала по рюмочкам таблетки для больных. Телевидение давно стало клоакой, стоком нечистот. Но то, что я увидел, было особенно отвратно. Кому-то пришло в голову показать банду молодых холуев — парней и девиц, которые раскрашивали свои физиономии, переодевались в шутовские наряды и под собственное улюлюканье приступали к увеселению хозяев роскошного коттеджа на Рублевском шоссе. За плату и угощение с выпивкой они изгилялись на маленькой сцене, отплясывали, сопровождая свои пританцовки похабными жестами, или бегали на четвереньках с высунутыми языками, готовые предоставить свои тела для утех пьянеющих нуворишей.

Судя по «Сатирикону» Петрония, подобное творилось во времена распада Древнего Рима.

- Вас тоже выписали? раздался голос одинокой старушки.
 - Нет, отозвался я.
- А вот меня выписали. Должен приехать сын, чтобы забрать домой. Жду четвертый час...
 - А он знает?
- Соседка по палате дала позвонить по мобильнику.
 Обещал сразу забрать. Может, забыл?
- Задержался, наверное... Потерпите немного. Пульт у вас? Давайте переключимся?

Пульт оказался у медсестры.

Какие-то проститутки и педерасты, — сказала медсестра, переключая канал.

На другом канале две упитанные писательницы и критикесса в очках обсуждали современную литерату-

ру. Жонглировали модными словечками «фикшн», «нонфикшн».

Бессмысленные компасы без стрелок... Прошлая страна, как Атлантида, уходила в глубь небытия. Со дна вздымалась на поверхность тошнотворная муть.

«Фикшн», «нонфикшн» — продолжали чирикать самодовольные дамочки. Мимо в сторону вестибюля направлялся в своем синем халате Максимов.

— Эдуард! — позвал я, поднимаясь с кресла. — Обожди. Он приостановился. Потом подошел, взял под локоть и довел до подоконника в вестибюле. Тополь купался в солнечных лучах под голубым небом.

- Телевизор смотрел? презрительно спросил Максимов, глядя на то, как я закуриваю. — Свой я уже давно ликвидировал.
- Ну да, буркнул я. По-страусиному голову в песок. Это легче всего.
- Зато ты позволяешь себе смотреть это дерьмо, общаться с этим православным совком Михаилом Ивановичем. Он и мне пытался всучить свои вонючие газетенки.
- Эдик, он тоже человек. Тоже, как мы, побывал в когтях у смерти.
- Ладно. Не будем о нем. Знаешь, зачем я вышел из палаты? Чтобы поговорить. Почему-то мучает, что я обманул тебя... Видишь ли, моя Мила не погибла в автокатастрофе. Она, видишь ли, ушла от меня. Знаешь почему? Я ее особенно люблю, уважаю за этот поступок.

Я покосился на Эдуарда. Показалось, у него в глазах слезы.

- У них, Эдик бывает множество причин, чтобы уйти, развестись...
- Нет, Володя. Не тот случай. Мила ушла из-за того, что мы, называемые демократами, упустили из рук свободу, завоеванную с Горбачевым. Допустили распад СССР, страдания миллионов людей. Ушла к другому мужику, реабилитированному после Колымы.

Теперь становилось понятно, отчего этот когда-то самоуверенный человек изменился, постарел, так что я его не узнал.

- Перестань. Давление подскочит, сказал я и подумал о том, что его нужно срочно переключить. Знаешь, там у телевизора сидит старушка, за которой никто не приехал. Нужно бы что-то сделать, чтобы отправить домой.
- А что можно сделать? бессильно спросил Максимов.

Мы подошли к дежурной сестре, попросили ее вызвать такси. Сложились. Дали денег на дорогу. Сестра проводила старуху вниз, к выходу.

15

— Не курите! — сказал на прощанье Михаил Иванович. — Вот огурчики остались. С нашего огорода. Храни вас Господь!

Он кивнул Максимову. Уже с сумкой в руке подошел к Вите. Тот, лежа под капельницей, произнес:

«Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий».

Михаил Иванович стихов Державина не знал. Испуганно поморгал ресницами. И покинул палату.

— Уф! — выдохнул Максимов. — Не взял с собой свои газетенки с «державностью». Оставил на тумбочке.

Нас осталось трое в палате на шесть коек.

— У кого-нибудь есть сметана? — спросил я. —Давайте сделаем к обеду салат из огурцов. Михаил Иванович оставил целый пакет.

Баночка сметаны нашлась в холодильнике у Вити. Днем в палату ворвалась Марина.

— Только что говорила с твоим врачом. Наконец-то хорошие показатели! Как ты себя чувствуешь? Смотри, волосы начали отрастать. Ежик на голове, на щеках — небритость.

И вправду, меня, кажется, возвращало к прежнему облику.

Марина принесла с собой домашний обед. Ухитрилась разделить его на всю компанию. Сделала салат из огурцов Михаила Ивановича.

Как-то само собой получалось, что мы вроде бы празднуем его отбытие.

Редкостно повезло с женой, — сказал мне Максимов, когда Марина пошла из палаты выносить грязные тарелки.

 С вашей стороны было бы подло по отношению к ней взять и помереть, — заметил Витя.

Когда Марина вернулась, я пошел проводить ее к лифту.

- Тяжело идти? спросила она, крепко беря меня под руку. Но ты лучше, гораздо лучше ходишь. Правда?
- Правда, соврал я. Каждый шаг давался с трудом. Послушай, неужели Тамрико до сих пор не звонила? Если деньги пришли должна была позвонить. Если не пришли тем более. Поневоле думаю об этом все время.
- Ты сделал все, что мог, сказала Марина, целуя меня на прощанье. А твой Немировский... Бог ему судья!

«Немировский чем-то похож на Максимова, —подумал я. — Оба в халатах ходят».

Она уехала. Я остался покурить в вестибюле наедине с моим тополем. Воробьи уже не сновали в его листве. Август шел к концу. Первого сентября Марине нужно было выходить на работу. Нике — в школу.

Я думал о том, что мог умереть от инфаркта, ничего этого уже не знать. Не видеть своего молчаливого друга, преданно стоявшего за окном, как бы являясь послом всеготеперьнедоступногомнезеленогомира — русских березовых рощ, кавказских буковых лесов, тропических джунглей с их лианами, бананами, апельсинами. И лимонными деревьями далекой Испании...

Мог умереть и не слышать ворчливого голоса старушки из грохнувшего поблизости грузового лифта:

Опять куришь, хулиган?

Прекрасно было оказаться в ее глазах хулиганом. Прекрасно видеть чуть покачивающуюся вершину тополя. Кажется, я получал шанс на вторую жизнь.

Двое санитаров выкатывали из лифта носилки на колесах, где лежал громадный пожилой человек. Глаза его были закрыты.

Они повезли его вглубь коридора. Потом вернулись в лифт с опустевшей каталкой. И вскоре поднялись с усатым доходягой, тоже лежащим в беспамятстве.

Нужно было как можно скорей мотать отсюда, отринуть от себя, как заразу, все эти пейзажи несчастий.

Тополь все раскачивал своей вершиной. За стеклами дул ветер. Еще теплый, летний.

В сознании всплыло: «Что за ветер в степи молдаванской! Как дрожит под ногами земля! Хорошо мне с душою цыганской кочевать, никого не любя…» Вспомнился высокий человек на эстраде.

Это был один из первых концертов Александра Вертинского после его возвращения из эмиграции. Еще шла война. Мне было пятнадцать лет, и я сидел в зале, исполненный предубеждения против этого белоэмигранта с его смокингом, аристократической картавостью и манерными жестами. Он пел о какой-то запредельной жизни, где не было нашей войны.

«В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, когда поет и плачет океан...»

Уходил я из зала полностью покоренный высочайшим, неповторимым искусством этого человека.

— Кончай курить! — не унималась старушка при каждом появлении грузового лифта. — Кончай хулиганить!

Я загасил сигарету в стеклянной баночке. Пошел обратно в палату. И увидел, что оба новых больных привезены к нам. Один хрипит на койке, где прежде находился армянский доктор, вроде бы завтракавший с бен Ладеном. Второй — старый великан — распростерт на койке, дотоле пустовавшей. Рядом с моей.

16

Вечером над Москвой, над больницей разразилась сухая гроза. Толстые молнии ослепительно сверкали во тьме. Я побаивался за Витю, который стоял на подоконнике, чуть не высунув лохматую голову в форточку, спасался от духоты.

- Слезай, попросил я после очередного взрыва молнии, на миг озарившего палату. — Опасно.
- А мне уже все равно! весело ответил Витя, перекрикивая мощный раскат грома. С детства по больницам, с детства на лекарствах. Хоть бы все скорей кончилось.

Не трогай его, — сказал Максимов. — Парень замечательно держится. И его девушка тоже.

Эдуард подсел на край моей койки, покосился на постанывающего рядом спящего великана. Вдруг спросил:

- О чем сейчас пишешь?
- О бананово-лимонном Сингапуре, зло сказал я. Было жалко Витю.

Невыносимо от бессилия хоть как-то помочь.

— Почему о Сингапуре? Ты туда ездил?

Я ничего не ответил. Максимов посидел, посидел и отошел. Поплелся к своему ложу. Потом и Витя тяжело спрыгнул с подоконника. Дождь так и не начался. К ночи духота в палате усилилась. Тишина нарушалась стонами новых больных. Того, что положили рядом с Максимовым, — усатого дядьку стало выворачивать начананку. Максимов сбегал за санитаркой. Та появилась с ведром, шваброй и тряпками. Включила свет, матерясь, стала убирать рвоту на полу, на кровати. Переодела ничего не соображающего дядьку в чистую больничную рубаху.

 С вами тоже так было, — сказал мне Витя. —Даже хуже. Еще и врачи колдовали.

Наконец санитарка ушла, погасив свет.

Гроза замирала. Отдаленные раскаты грома едва достигали слуха. И тут сквозь наплывающую дремоту я различил в темноте, как силится сесть мой новый сосед. Черным силуэтом он приподнимался, беззвучно рушился, снова пытался встать.

 Нельзя вставать, — тихо сказал я. — Вам сейчас нельзя вставать.

Тот на минуту притих. Потом с новым упорством принялся за своё. В конце концов сел. Даже сидя он выглядел Гулливером.

Передохнул и, опираясь руками о постель, стал поворачиваться, опускать ножищи в мою сторону.

- Ложитесь, повторил я. Нельзя вставать.
- Хохлы! неожиданно заявил гигант. Хохлы пекут коржи.
 - Какие еще хохлы? поинтересовался я.

И тут с дальней кровати, где лежал усач, донеслось:

- Барыбинские коты следят из-за палисадника.
 Максимов и Витя спали... Гигант все сильнее кренился в мою сторону, грозя всем телом рухнуть мне на ноги.
- Хохлы, яростно бормотал он. Пекут, понимаешь, коржи под кроватью.
 - Барыбинские коты... издали вторил усач.

Гигант накренился и обрушился поперек моих ног. Я чуть не взвыл от боли. В панике нашарил у стены сигнальный шнур, задергал.

Вбежала медсестра. Потом кинулась за дежурным врачом.

Они с трудом подняли слабо сопротивляющегося соседа, уложили, эластичными бинтами привязали его руки и ноги к кровати. Затем, пока врач делала ему укол, медсестра сбегала за какими-то металлическими решетчатыми стойками, которые они ловко водрузили по бокам его кровати. Плененный великан, засыпая, все-таки пытался втолковать им что-то о хохлах. Но они перекинулись к постели усатого.

Я долго не мог уснуть.

…Где-то в Тбилиси в больничной палате также, наверное, лежал Алеша. Неподвижный. Если Немировский все-таки не перевел денег. С другой стороны, зачем миллионеру мараться из-за пяти тысяч долларов? Вспомнилось, как давным-давно сидел с Алешей возле развалин древнеримских бань в апацхе — сарае с бамбуковыми стенками. Он наливал из глиняного кувшина изабеллу в липкие стаканы, и над нами вились осы. Пахло дымком костра, над которым шипела баранина и варилась в котле мамалыга.

…А вечером вокруг спящего дома Алеши и Тамрико летали в темноте светлячки, издали слышался рокот реки Техури.

Володя, — донесся голос Максимова, — спишь?

Последние дни он все время искал повода поговорить.

Насколько Эдуард лично виновен в том, что произошло с нашей страной, я не знал. Но снова беседовать с ним об этом было противно. Я не мог забыть самодовольного выражения его лица, когда много лет назад видел по телевизору репортажи сперва из Верховного совета, потом Первой думы.

Я притворился, что сплю.

Утром шел врачебный обход, когда я увидел в раскрытой двери Марину. Обычно она так рано не приезжала. И сумки с провизией в ее руках не было.

- Что с Никой? спросил я, в то время как врач выслушивала фонендоскопом мое сердце.
 - Все хорошо, почему-то сияя, ответила Марина.
- Доктор, как сердце? Последние дни совсем не болит. Я его не чувствую.
 - И слава Богу. Пожалуй, все стабилизировалось.
 - Тогда, пожалуйста, выпишите меня.
 - Вы не пролежали положенных трех недель.
 - Ну и что? Лекарства можно принимать и дома.
- Нет. Не имею права, она перешла к кровати моего соседа. К этому времени медсестра с санитаркой сняли решетчатые стойки, освободили Гулливера от пут.
- Хохлы! сказал я ему, вставая с кровати. —Хохлы пекут коржи...

Он ничего не понял, ничего не помнил... Слабо улыбался.

Я подошел к Марине, потянулся было поцеловаться и тут за ее спиной в коридоре увидел двоих людей. Мужчину и женщину. Мужчина стоял на костылях. Неестественно прямой. Женщина держала в руках корзину, прикрытую шалью.

Алеша! Тамрико! — сказал я. И заплакал.

...Как мне удалось добиться от врача освобождения под расписку, как мы с Мариной, Алешей и Тамрико долго ждали в холле у телевизора необходимое меди-

цинское заключение с рекомендациями, как я выручал из камеры хранения свою городскую одежду, торопливо переодевался — уже совсем другая история, другая жизнь.

Как можно было сразу догадаться, Алеше все-таки сделали удачную операцию, вживили имплантат из титана, поставили на ноги.

Оказалось, Немировский деньги все-таки выслал! Получив их, Тамрико сразу же позвонила мне, да никого не застала дома. А потом закрутилась в связи с операцией Алеши.

Теперь она привезла его на консультацию в Институт имени Бурденко. Но первым делом они решили навестить меня.

Корзину с деликатесами из Тбилиси мы оставили обитателям палаты.

Когда спустились к заранее вызванному такси, я поискал глазами тополь, чтобы на прощанье обнять его ствол, но дерево, видимо, росло с другой стороны корпуса.

2007







Владимир ФАЙНБЕРГ—

автор восемнадцати книг стихов и прозы. В том числе романов «Здесь и теперь», «Все детали этого путешествия», «Скрижали», «Patrida», «Про тебя», «Навстречу Нике», «Словарь для Ники», «Карта реки времени», сборника стихов «Невидимая сторона» и воспоминаний об отце А. Мене.



www.vfainberg.ru vfainberg@yandex.ru



- AMMOHHOM CMHTAITYPE...» БИОГРАФИЯ В ФОТОРГАФИЯХ «B BAHAHOBO Владимир ФАЙНБЕРГ